

Н. О. Л е р н е р

РАССКАЗЫ
О
ПУШКИНЕ

• П р и б о й •
1929

ЧИТАТЕЛЬ! Отзывы об этой книге пошли по адресу: Москва, Ильинка, 3, Госиздат, в редакцию журнала „Книга и революция“



О Т А В Т О Р А

Часть очерков, вошедших в предлагаемый вниманию читателя сборник, печатается впервые. Другие были в печати, но подверглись переработке и приведены в соответствие с новейшими данными пушкиноведения. Автора занимали некоторые вопросы биографии поэта и истории его творчества, его эпоха и бытовые условия, в которых он жил. Без объективного знания всевозможные оценки личности поэта и созданного им великого дела должны оставаться беспочвенными и могут лишь давать простор произвольным, заманчивым подчас, но бесплодным построениям. Именно объективному знанию настоящие очерки и служат. Не притязая на полноту изображения, доступную только всеохватывающей биографии, имея значение лишь эскизов, они рисуют личность Пушкина и характеризуют его творчество с различных и, думается мне, интересных сторон.

1929

РАССКАЗЫ
О
ПУШКИНЕ

СЕСТРА ПУШКИНА

Ольга Сергеевна была немного старше Александра. Она родилась 20 декабря 1797 г. в Петербурге. Из семи детей Сергея Львовича и Надежды Осиповны Пушкиных четверо умерли в малолетстве, и выросли трое, один из которых и прославил семью. Ольга Сергеевна не играла в жизни своего гениального брата особенно крупной роли, не была для него тем, чем например для Ренана была его сестра Генриэтта, но она была доброй подругой его детства, а потом, в трудные минуты его жизни, не отшатнулась от него, как другие родные, выказала ему сочувствие и морально поддержала его. Известно, что Пушкин был довольно холоден к родителям, которые, повидимому, рано оттолкнули его от себя, но сестру, так же как и брата Льва, бывшего мо- ложе их обоих, он всегда любил. «Я думаю, — говорит А. П. Керн, которая хорошо знала поэта и Ольгу Сергеевну и не раз наблюдала их вместе, — он никого истинно не любил кроме няни своей и потом сестры.¹ По словам другого современника² Пушкин к Ольге Сергеевне «питал особенную привязанность».

В детстве Ольга Сергеевна в качестве старшей была в глазах брата авторитетом. Ей пришлось быть критиком его первых творческих опытов. Пушкин любил им-

¹ «Русс. Стар.» 1870 г., март, 654. Как относилась сестра к брату, об этом можно судить по забавному случаю, сообщаемому той же Керн. Однажды они были втроем, и Пушкин подсел к Анне Петровне и «между прочими нежностями» сказал: «дайте ручку»... Сестра поэта заметила, что не понимает, как можно отказывать просьбам Пушкина, и это так понравилось Пушкину, что он бросился перед нею на колени (Л. Майков, «Пушкин», СПб., 1899, стр. 264).

² С. П. Шевырева (там же, 324).

провизировать комедийки и, «по общему согласию с сестрой, устроил нечто в роде театра, где автором и актером был брат, а публикой сестра». ¹ Эта немногочисленная публика однажды освистала пьесу «L'Escamoteur»; автор не стал спорить с строгим приговором и попытался во французском четверостишии объяснить свой провал похищением сюжета у Мольера. Воспитывались брат и сестра вместе. Та же няня Арина Родионовна пестовала их, ² те же учителя и гувернеры учили их, и довольно плохо, и надзирали за их поведением. Одна из гувернанток, мисс Белли, которую Ольга Сергеевна очень любила, учила ее английскому языку и читала с нею Шекспира; особенно высоко ставила Ольга Сергеевна «Макбета». Французский эмигрант граф Ксавье де Местр (автор свыше меры прославленного «Путешествия вокруг моей комнаты» и «Параши-Сибирячки») учил ее живописи, и она впоследствии очень недурно рисовала. ³ Учили ее и музыке, но преподаватель попался из неудачников - танцмейстеров и к тому же не чуждался рукоприкладства, да и клавикорды были допотопные, бабушкины. Хотя такое преподавание скоро опротивело Ольге Сергеевне, она музыки все-таки не оставила, что видно и из послания, с которым обратился к ней брат в 1814 г. ⁴:

Иль звучным фортепьяно
Под беглою рукой
Моцарта оживляешь?
Иль тоны повторяешь
Пиччини иль Рамо?

Характерно, что Пушкин, уже три года тому назад отвезенный в Царское Село, в лицей, это свое первое лирическое признание и вместе с тем первое исповеда-

¹ П. В. Анненков, «Материалы для биографии Пушкина», изд. 1854 г., стр. 13 — 14.

² На своем образном языке няня прозвала маленькую Ольгу: «занавесная барыня», так как приходилось закрывать чем-нибудь девочке глаза при кормлении грудью.

³ Один ее рисунок воспроизведен с Соч. Пушкина, изд. Брокгауз-Ефрона, I, 83.

⁴ Стихотворение сохранилось благодаря Ольге Сергеевне и печатается с ее автографа; в бумагах самого поэта никаких следов его не осталось.

ние своего поэтического призвания посвятил не отцу, не матери, а именно Ольге Сергеевне, своему «другу бесценному». Он мечтает о свидании с ней:

С подругой обнимуся
Весны моей златой...
О, как тебя застану,
Любезная сестра?
Чем сердце занимаешь
Вечернею порой?
Жан-Жака ли читаешь?
Жанлис ли пред тобой?
Иль с резвым Гамильтоном
Смеешься всей душой?
Иль с Греем и Томсоном
Ты пренеслась мечтой
В поля, где от дубравы
Вдоль веет ветерок,
И шепчет лес кудрявый,
И мчится величавый
С вершины гор поток?..
Иль смотришь в темну даль
Задумчивой Светланой
Над шумною Невой?..

Ольга Сергеевна, как почти всякая девушка той эпохи, была настроена на романтический лад, чему, впрочем, способствовали ее природные наклонности. Она увлекалась спиритизмом, занималась столоверчением, изучала хиромантию, физиономику и френологию; сочинения Галля и Лафатера стали ее настольными книгами, с помощью которых она, по ее мнению, «безошибочно распознавала характеры людей». ¹ С Александром, который не мог покидать лицей, она видалась очень редко; только, бывая с родными по праздникам в лицее, она могла встречаться с братом, который читал своему прежнему критику свои стихи. Чтение Ольга Сергеевна любила так же, как и брат. Отец читал ей вслух Мольера. Библиотека отца, в которой были классики XVIII столетия, была вся к ее услугам. Приведенные стихи брата достаточно говорят об ее охоте к чтению и несколько свидетельствуют об ее литературных вкусах.

¹ «Она бредит сочинением Лафатера о физиономиях» — писала в 1826 г. С. М. Дельвиг — «она много его изучала, и ее страсть распознавать характер всех по чертам лица» (Б. Л. Модзалевский, «Пушкин», Лг., 1929, стр. 201).

Летом 1817 г., по окончании лицейского курса, Пушкин провел несколько недель у родных в с. Михайловском. Здесь он встретился снова с сестрою. В библиотеке Пушкина сохранился экземпляр басен Лафонтена, подаренный ему сестрою в это лето (13 июля).¹ Пребывание в Михайловском, где Ольга Сергеевна находилась в кругу веселых соседей и друзей, бывало настоящим праздником для девушки, отдохавшей тогда от семейного деспотизма, от той «родительской музыки», которая не раз отравляла жизнь и Александру. Свой взгляд на родственные узы, под которыми не кроется любви и сочувствия, Пушкин с грустным добродушием высказал в «Евгении Онегине»:

Родные люди вот какие:
Мы их обязаны ласкать,
Любить, душевно уважать
И, по обычаю народа,
О Рождестве их навещать
Или по почте поздравлять,
Чтоб остальное время года
Не думали о нас они...
Итак дай бог им долги дни!

К таким «родным людям» Пушкин не причислял Ольги Сергеевны. По всей вероятности к ней² относится исповедь поэта, которую можно датировать 1818 — 1819 гг.:

Позволь душе моей открыться пред тобою
И в дружбе сладостной отраду почерпнуть.
Скучая жизнью, томимый суетою,
Я жажду близ тебя, друг нежный, отдохнуть.
Ты помнишь, милая, зарею наших лет,
Младенцы, мы любить умели.
Как быстро наши лета улетели!
В кругу чужих, в немилой стороне,
Я мало жил и наслаждался мало!
И дней моих печальное начало
Наскучило, давно постыло мне!..

Настала новая разлука. Поэт очутился на юге. Не часто и не много писал он сестре оттуда. В одном

¹ «Пушкин и его современники», IX — X, 265.

² М. Г. Халанский, «О влиянии В. Л. Пушкина на поэтическое творчество А. С. Пушкина» («Харьков. университет, сборн. в память Пушкина», Хар., 1900, стр. 384 — 385).

письме (27 июня 1821 г.) он шутливо расспрашивает ее, все ли она еще любит одинокие прогулки, как зовут ее любимых собачек, что читает она, ездит ли верхом, собирается ли замуж... «Веселись и выходи замуж», писал он ей через год (21 июля 1822 г.). Когда, в 1822 г., И. П. Липранди, встречавшийся с Пушкиным на юге, навестил, приехав в Петербург, его родных, то «из всех интересовалась более знать об Александре Сергеевиче сестра его».¹

Свидание сестры с братом наступило довольно неожиданно для них обоих. 9 августа 1824 г. жандарм привез Пушкина в Михайловское, под надзор отца. Поэт застал здесь и сестру, и брата Льва, и родителей. Последние уже давно были недовольны сыном, который пошел не по той дороге, на которой им хотелось его видеть, служить не умел и не желал, уже два раза навлек на себя гнев правительства и из ссылки попал в новую ссылку и таким образом скомпрометировал своих близких. Их отношения, и раньше довольно прохладные, теперь окончательно испортились. Отец обвинял Александра между прочим в антирелигиозном влиянии на брата и сестру. В октябре поэт писал княгине В. Ф. Вяземской: «Заявляют, что я проповедую атеизм сестре, небесному созданию»; тогда же он писал Жуковскому: «Не говорю тебе о том, что терпят за меня брат и сестра». Тяжелые отношения скоро привели к разрыву, и в конце ноября Пушкин был в Михайловском уже один, на что, впрочем, не жаловался. Ольга Сергеевна выражала желание остаться с ним, но он никак не мог согласиться, чтобы она из привязанности к нему целую зиму проскучала в деревне. В своем одиночестве он жалел лишь об ее отсутствии.²

Лёвушка, младший брат, был еще слишком юн и к тому же довольно легкомыслен и никаким значением в семье не пользовался, но Ольга Сергеевна умела влиять на родителей и старалась примирить брата с ними. Летом 1825 г. старики Пушкины вместе с Ольгой Сергеевной были в Ревеле, на морских купаньях. Туда же

¹ «Русс. Арх.» 1866 г., ст. 1483.

² Записки И. И. Пущина (Л. Майков, «Пушкин», стр. 80).

приехал друг Пушкина князь П. А. Вяземский и познакомился с Ольгой Сергеевной. Они очень подружились и часто встречались. Письма Вяземского¹ полны похвалами ей. «Милое, умное, доброе создание», писал он оттуда самому Пушкину. Она напомнила Вяземскому своего брата. «Премилая девочка», «очень мила, жива», «моя приемная сестра», говорит о ней Вяземский в письмах к своей жене. Постоянным и главным предметом бесед Вяземского с Ольгой Сергеевной была, конечно, участь Александра, которого Вяземский всячески старался «образумить», боясь, что ссора с родителями и нежелание пойти на компромисс с властью еще больше повредят ссыльному. «Вспомни», — писал он поэту, — «собаку Хемницера, которую каждый раз короче привязывали; есть еще и такая привязь, что разом угомонит дыхание; у султанов она называется почетным снурком, а у нас этот пояс называется Уральским хребтом». Несколько раньше Вяземский писал Ольге Сергеевне, чтобы она повлияла на брата и понудила его сделать первый шаг к примирению с отцом. «Дайте ему понять, что этот мир необходим для вашего спокойствия. Вдобавок я боюсь того впечатления, которое его ссора с родителями может произвести на общество и на самого государя. Мы живем в такое время, когда все становится известным; у вашего брата есть враги, — не замедлят изобразить его перед государем как человека, который бунтует вообще против божеских и человеческих законов, не умеет переносить никакой узды и, будучи дурным сыном, будет дурным гражданином»². В начале августа, когда Пушкины уезжали из Ревеля в Петербург, Вяземский поднес Ольге Сергеевне стихи, в которых прекрасно определил ее значение в жизни брата.

Нас случай свел. Но не слепцом меня
К тебе он влек непобедимой силой.
Поэта друг, сестра и гений милый,
По сердцу ты и мне давно родня!
Так! в памяти сердечной, без заката,
Мечта о нем горит теперь живей:
Я полюбил в тебе сначала брата,

¹ «Остафьевский архив кн. Вяземских», т. V, вып. 1, СПб., 1909, стр. 56, 58, 68, 90.

² «Пушкин и его современники», I, 79 — 80.

Брат по сестре еще мне стал милей.
Его удел — блеск славы горделивой,
Сияющей из лона бурных туч,
И от нее падет блестящий луч
На жребий твой, смиренный, но счастливый.
Но ты ему спасительнее будь:
Свети ему звездой безмятежной
И в бурной мгле учащем, дружбой нежной
Вливай покой в растерзанную грудь.¹

Ольга Сергеевна усердно хлопотала в пользу ссыльного брата, и он же вскоре обрушился на нее, а также на других своих близких и друзей, старавшихся облегчить его положение, когда они добились для него разрешения съездить в Псков полечиться. Болезнь была лишь выдуманным предлогом для подготовки побега за границу через Псков и Дерпт, но дерптского хирурга Мойера упросили приехать в Псков и сделать там Пушкину операцию (в которой не было никакой надобности). Задуманный план рухнул, и раздосадованный Пушкин стал отказываться от поездки в Псков, а сестре сгоряча написал (в середине августа) письмо, в котором бранил своих заступников за их «непонятную жестокость», за «беспечность и легкомыслие». «Избавь меня, боже мой, от моих друзей!» — так кончались эти безрассудные строки. Письмо оскорбило всех близких поэта, а в особенности Ольгу Сергеевну. «Бедная сестра твоя» — писал Вяземский, — «только слез, а не толку добилась из твоего письма; она целый день проплакала и в слезах поехала в Москву» (23 августа). Огорчен был и Жуковский, тоже принимавший деятельное участие в хлопотах в пользу Пушкина, и писал ему: «Я было крепко рассердился на тебя за твое письмо к сестре». Но Пушкин понял свою ошибку и поспешил ее исправить, все очень скоро уладилось, и в конце августа друзья Пушкина, которых он огорчил неблагодарностью и чуть не поставил в тяжелое положение перед правительством своим отказом от дарованной «милости», с удовольствием узнали, что он изменил свое решение. Вяземский писал² своей жене, находившейся тогда в Москве, чтобы она сооб-

¹ «Остаф. арх.», V, вып. I, стр. 85 — 86.

² Там же, стр. 94.

шила сестре Пушкина, что «он соглашается ехать в Исков, и, кажется, все будет устроено».

В следующем году она опять была с родителями в Ревеле на купаньях. Приехали туда Карамзины (семья недавно умершего историка), Вяземский и бар. А. А. Дельвиг. Ольга Сергеевна встречалась с друзьями брата и служила посредницей в их сношениях с ним, так как письма посылались не по почте, которой все корреспонденты имели основание не доверять. Оттуда Ольга Сергеевна писала Александру: «Я очень довольна, что нахожусь здесь. Морские купанья, свобода, которою я располагаю для одиноких прогулок, возможность видеть людей, должно быть совершенно чуждых всей петербургской суете и так мало похожих на моих милых соотечественников, все это иногда заставляет меня верить, что я за тридцать пять тысяч верст от моей дорогой родины, и дарит мне счастливые минуты... Если бы ты знал, как мне хотелось бы поехать за море, ты пожалел бы меня». Этому желанию Пушкин мог посочувствовать горячее, чем кто бы то ни было: он сам в это время мечтал о чужих краях, о «Лондоне, чугунных дорогах, паровых кораблях, английских журналах, парижских театрах» (пис. Вяземскому 27 мая). Кончает Ольга Сергеевна кратким, но значительным намеком: «Надеюсь, что мы скоро увидимся». Ей было известно, что дело об освобождении брата близко к благополучному концу. Через шесть недель Ольга Сергеевна, бывшая уже в Петербурге с родителями, с радостью узнала, что Александр в Москве и на свободе. «Как счастлива семья твоя, ты не можешь себе представить... Они доказали тебе любовь свою», писал ему Дельвиг, и Пушкин наверное не мог не понимать, что всех больше доказала это Ольга Сергеевна.

Наступил 1827-й год, и Ольге Сергеевне пошел тридцатый, — близился тот роковой возраст, который окончательно переводит девушку в разряд старых дев. «Выходи замуж», не раз говорил ей брат Александр; то же, конечно, твердили и другие. Для нее, как для всякой девушки ее круга и ее эпохи, замужество было единственным способом устроить свою судьбу; к тому же ее давно тяготила душная семейная обстановка, на-

доели французские романы, романсы, рукоделие, собачки, театр. Перестала удовлетворять сантиментальная дружба¹. «Если девушек не выдают замуж, они выходят сами», — сказал оракул вавилонскому царю в сказке Вольтера. Ольга Сергеевна так и поступила. В 1827 г. старикам Пушкиным и их дочери на вечере у одних знакомых был представлен Николай Иванович Павлицев, небольшой чиновник коллегии иностранных дел, родом из бедных дворян, значительно моложе² Ольги Сергеевны. Она «очень ему понравилась» — рассказывает их сын³, — и он, «не откладывая дела в долгий ящик, решился сделать предложение, но, раскусив чванство Сергея Львовича и в особенности Надежды Осиповны, которые оба по своему эгоизму держали дочь на привязи и, само собою разумеется, не могли допустить мысли выдать ее за человека бедного, бывшего к тому же пятью годами моложе ее, счел необходимым

¹ У нее, несмотря на ее ум», — писала (1826 г.) С. М. Дельвиг — «мания всегда искать себе «друзей», которых она меняет почти так же, как рубашки» (Б. Л. Модзалевский, «Пушкин», Лг., 1929, срт. 193).

² Родился 6 мая 1802 г., умер 8 декабря 1879 г.

³ Л. Н. Павлицев, «Воспоминания об А. С. Пушкине», М., 1890, стр. 46—47. Книгой этой, наполненной тенденциозною ложью, пользоваться надо с большой осторожностью. Фигура поэта, нарисованная здесь, мало соответствует истинному образу Пушкина. У Л. Н. Павлицева поэт то слезливо сантиментальничает и изливается в lamentациях, то бурно мечет громы по адресу каких-то врагов и поминутно читает свои стихи. Оплакивая Дельвига, он, «среди истерических рыданий», говорит Ольге Сергеевне стихами: «Сестра! в гробу мой Дельвиг милый. Немного нас осталось здесь...». Между тем, вот что писал Пушкин Плетневу (21 января 1831 г.), узнав о кончине Дельвига: «говорили о нем, называя его покойник Дельвиг, и этот эпитет был столь же странен, как и страшен. Нечего делать! согласимся: покойник Дельвиг — быть так». С глубокой правдивостью, с верным пониманием характера Пушкина писала А. П. Керн, что «он почти никогда не выражал чувств, он как бы стыдился их и в этом был сыном своего века...» (Л. Майков, «Пушкин», 263). Ради обеления родных Пушкина от нареканий Л. Н. Павлицев слишком идеализировал семейную обстановку, в которой жил поэт. Мало того, племянник Пушкина не остановился перед фальсификацией документов и позволил себе извратить много писем переделками и собственными вставками (см. его письмо в ред. «Нов. Времени» 1911 г., № 12591; Н. Лернер, пис. в ред. «Речи» 1911 г., № 103; Н. рецензия на «Пушк. и его соврем.», XV, в «Речи» 1912 г., № 8).

расположить их в свою пользу». Брат Александр и дядя Василий Львович, а также Жуковский будто бы поддерживали его сватовство, но родители отказали наотрез. Особенно была настроена против жениха Надежда Осиповна и даже приказала не принимать его больше. Тогда Ольга Сергеевна обошлась без родительского предварительного согласия, ушла из дома и обвенчалась с Павлицевым.

Что имели родители перезрелой невесты против жениха? Дело было, конечно, не в их чванстве, а в том, что у Павлицева была неважная репутация. Ходили слухи, что он человек больной; болезнь была, должно быть, из тех, которые сами пациенты старательно скрывают.¹

Свадьба совершилась, повидимому, при очень странных обстоятельствах, и ей предшествовал ряд тяжелых семейных сцен. По словам хорошо знавшего семью Пушкиных графа М. А. Корфа, Ольга Сергеевна «ушла из родительского дома и тайно обвенчалась, просто из романической причуды и не имея пред собою никаких существенных препятствий».² Через несколько дней после свадьбы, состоявшейся 27 января 1828 г., Жуковский писал А. А. Воейковой («Светлане»): «Пушкина Ольга Сергеевна одним утром приходит к брату Александру и говорит ему: «милый брат, поди, скажи нашим общим родителям, что я вчера вышла замуж за... (не помню кого). Брат удивился, немного рассердился, но, как умный человек, тотчас увидел, что худой мир лучше доброй ссоры, и понес известие к родителям. Сергею Львовичу сделалось дурно. Привели цырюльника пустить кровь, и Пушкин замечает, что отец его в беспамятстве горя поднял спор с цырюльником и начал учить его как пускать кровь, но тем и кончил, и теперь все помирились.»³ Впоследствии гр. М. Д. Бутурлину,

¹ Дневник М. П. Погодина («Пушк. и его совр.», XIX — XX, 89).

² Я. К. Грот, «Пушкин, его лицейские товарищи и наставники», изд. 2-ое, СПб., 1899, стр. 249.

³ «Русск. Библиофил» 1915 г., № VII, стр. 19—20. Воейкова в письме к своему мужу выразила надежду, что Пушкин «на есараде (выходку) сестры что-нибудь напишет» (там же, № IV, стр. 31).

дальному родственнику Пушкиных, рассказывали, «как странно выходила замуж за Павлицева Ольга Сергеевна», как она ушла однажды утром из дому и вскоре, вернувшись, объявила матери, что только что обвенчалась, а затем пошла в свою комнату и взялась за свое обычное занятие, рисование.¹ До П. И. Бартенева много лет спустя дошло известие, что Ольга Сергеевна с Павлицевым «обвенчалась тайно... они хотели избежать сантиментальности».² Их сын рассказывал, что после самовольного венчания, бывшего «в час пополуночи», Павлицев отвез Ольгу Сергеевну в родительский дом и сам отправился на свою холостую квартиру, а утром Ольга Сергеевна послала за братом Александром, который намедля приехал и «после трехчасовых переговоров» с родителями послал за Павлицевым. «Новобрачные упали к ногам родителей и получили прощение».³ Совсем не то рассказывает всегда точная и правдивая А. П. Керн,⁴ которая вместе с Александром Сергеевичем встречала и благословляла новобрачных в квартире Дельвига. Надежда Осиповна, вручая ей икону и хлеб, просила ее быть посаженной матерью Ольги Сергеевны, и Керн поехала исполнять поручение вместе с Александром Сергеевичем в старой семейной карете его родителей. Пушкин был при этом «задумчив и грустен», как всегда «в торжественных случаях».⁵ Не стоит разбираться в достоверности тех или иных подробностей этой свадьбы, но ясно, что дело не обошлось без дразг и неприятностей.

Красивой Ольгу Сергеевну нельзя было назвать, но она была недурна собою, — в мать и гораздо более образнее и красивее братьев своих», — говорит Вязем-

¹ «Русск. Арх.» 1897 г., II, 377.

² «Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей Б. И. Бартечевым», М., 1925, стр. 61.

³ Л. Н. Павлицев, 48.

⁴ Нам не раз приходилось указывать на редкую в мемуарной литературе правдивость и точность воспоминаний Керн. (См. напр. Соч. Пушкина, изд. Брокгауз-Ефрона, примеч. к №№ 401, 540, 571, 574).

⁵ Л. Н. Майков, «Пушкин», СПб, 1899, стр. 262 — 263.

ский.¹ Павлицев же никак не был похож на героя романа, увлечься им было невозможно, да Ольга Сергеевна им и не была увлечена: ей просто надо было освободиться от родительского гнета и выйти замуж. Гр. М. А. Корф отзывается о нем: «человек очень малопривлекательный и прозаический».² «Довольно скучная особа», говорит М. Д. Бутурлин.³ «Он, говорят, был человеком негодным», внес в свой дневник М. П. Погодин.⁴ По переписке Павлицева с поэтом и его отцом можно судить, что это был за человек. Ольге Сергеевне следовало получить приданое из семейного имущества, а после смерти матери причиталась доля в наследстве. Письма Павлицева к Пушкину об управлении еще неразделенным имуществом и о разделе обличают в муже Ольги Сергеевны сухую, грубую, меркантильную, лишенную малейшей деликатности натуру. Он беззастенчиво приставал к Пушкину, настаивая на выдаче доли сестры в таких выражениях: «или жена моя — дочь Сергея Львовича, и дети ее — внуки его, или нет; последнее невероятно; следовательно первое остается в своей силе. На этом основании я делаю вопрос: почему не выделить ее, не дать ей того, что раньше или позже должно быть отдано? Сыновей холостых, и даже женатых, не все отцы и не всегда деляют, но замужних дочерей?.. все и всегда, так водится на святой Руси». Пушкина Павлицев уговаривал так, как уламывает маклак несговорчивого покупателя: «согласитесь лучше, Александр Сергеевич, на предлагаемую мною сделку — и дело с концом». Разделом наследства Надежды Осиповны Павлицев донимал и Сергея Львовича, недавно овдовевшего, который писал старшему сыну: «это человек жадный, ужасно корыстный». Его надоедливые советы немало докучали поэту. В конце 1836 г., когда нравственные обстоятельства Пушкина были запутаны, и материальные дела его были

¹ Сочин. кн. П. А. Вяземского, VIII, 238. «Она прелестна» — писала (1826 г.) Пушкину увлеченная им Анна Ник. Вульф, — «знаете, я нахожу, что она очень похожа на вас».

² Я. К. Грот, «Пушкин» и проч., 249.

³ «Русс. Арх.» 1897 г., II, 377.

⁴ Пушк. и его соврем., XIX — XX, 89.

очень плохи, Павлищев изводил его своими пристава-ниями и дурно влиял в этом отношении даже на Ольгу Сергеевну, которая уже не проявляла тогда прежней чуткости и не умела войти, как следовало бы, в положение брата. «Павлищев» — жаловался поэт отцу — «упрекает меня за мои расходы, хотя я ни у кого не сию на шее и никому, кроме моих детей, не обязан отчетом». ¹ Дружески сойтись с Николаем Ивановичем Пушкин не мог, — он его еле терпел из любви к сестре.

Счастья в браке Ольга Сергеевна не нашла, и относительно светло было лишь первое время ее замужества, когда ее навещали брат Александр, М. И. Глинка, Мицкевич, Дельвиг. Взяла она к себе в дом старую няню Арину Родионовну, которая, впрочем, прожила еще недолго и умерла на руках у своей питомицы. ² Николай Иванович, надо отдать ему справедливость, засох и очерствел не сразу, и в молодости в нем мелькали кое-какие живые черты. Он литераторствовал, кое-что переводил (между прочим, для «Литературной Газеты» Дельвига), любил музыку и сам ее сочинял, мастерски играл на гитаре, ³ издал вместе с М. И. Глинкой и кн. С. Г. Голицыным музыкальный альманах «Лирический альбом на 1829-й год». Пушкин дал в этот альманах, по просьбе сестры, балладу «Два ворона», положенную на музыку гр. М. Ю. Виельгорским; тут же была помещена и «Черная шаль» с музыкой того же композитора.

В начале 1830 г. Ольга Сергеевна разъехалась с мужем. О причине можно лишь догадываться. 16 февраля Алексей Вульф сообщил сестре Анне Николаевне известие, полученное им от А. П. Керн, «что Ольга Сергеевна вылечилась с тем, чтобы впредь уже не занемо-

¹ «Пушк. и его соврем.», XXXVII, 1, 2, 4—5.

² По словам Анненкова («Материалы», изд. 1854 г., стр. 5) няня умерла в 1828 г.; Павлищев («Воспом.», 13) говорит, что в конце этого года. В бумагах Пушкина (Румянц. муз., № 2371, л. 16 об.) есть одна запись, где под 25 июня (1828 г.) отмечено: «Няня + («Русс. Стар.» 1911, дек., 654), что по всей вероятности означает: «няня умерла».

³ В. П. Гаевский, «Дельвиг», ст. II («Современник», т. XXXIX, 1853 г., отд. III, стр. 49); Л. Павлищев, «Воспоминания», стр. 44—45, 50, 166—167; «Пушк. и его соврем.» XVII—XVIII, 171, 188.

гать, т. е. разъехалась с Павлицевым. Мне кажется, причина ее поступка весьма основательна: кому не мило свое здоровье?»¹ Ольга Сергеевна вернулась в дом родителей и стала жить с ними, зимой в Петербурге, летом в Михайловском. Весною 1830 г. она была очень обрадована вестью о помолвке брата Александра и написала его невесте любезное письмо, которое доставило поэту большое удовольствие. Павлицев вскоре перевелся на службу в Варшаву (где прослужил сорок лет и дошел впоследствии до довольно крупного положения), а Ольга Сергеевна опять стала скучать в родительском доме. На некоторое время ее развлек приезд брата Александра, который поселился с молодой женою на лето 1831 г. в Царском Селе. С мужем она исправно переписывалась.² В ожидании приезда Натальи Николаевны она пишет Павлицеву, что ей не хочется показаться кухаркой рядом с невесткой, о красоте которой она много слыхала, значит предстоят расходы, а на литературные заработки Николая Ивановича, переводы которого она пробовала пристраивать, надежда слаба: «при всем моем почтении к. твоему таланту, мне кажется, что он не избавит тебя от требований портного, наборщика и даже переплетчика». Приезжают Пушкин с Натальей Николаевной. Ольга Сергеевна нахвалиться не может невесткой: «молода, хороша, умна, детски простодушна» и даже «стоила бы мужа полюбезнее, чем Александр». Она подружилась с женою брата и радуется их супружескому согласию, которому не мешает их физический контраст («Вулкан и Венера», «Кирик и Улита»). Светские успехи Натальи Николаевны, которая была представлена императрице и очень понравилась ей, приводят Ольгу Сергеевну в восторг: «она принята в самом высоком кругу, и вообще говорят, что она всех красивее, ее прозвали «Психеей». Осенью молодожены переезжают в город и несколько раз предлагают Ольге Сергеевне поселиться у них, но она отказывается: ей не нравится их слишком рассеян-

¹ «Пушк. и его соврем.», I, 86; см. также запись в дневнике А. Н. Вульфа («Пушк. и его соврем.», XXI—XXII, 114).

² Письма 1831—1832 гг., цитируемые ниже, помещены в Пушк. и его соврем.»; XV, 50, 66—67, 76, 78, 84, 89, 101, 106, 124.

ная жизнь. Весною следующего года она пишет мужу, что Наталья Николаевна «премилая и пребрюхатая», и вскоре радуется, что стала теткой: Наталья Николаевна родила своего первого ребенка, Машу.

Счастье молодой матери возбудило зависть в одинокой, тоскующей Ольге Сергеевне. Она уже давно решила опять сойтись с Николаем Ивановичем и теперь пишет ему: «Я так много страдала, что меня не соблазняет мысль, что придется опять страдать лишь для того, чтобы осуществить твои надежды, без которых ты можешь вполне обойтись. Впрочем, скажу тебе, что будь у меня ребенок лет трех (как и мог бы быть), это было бы для меня большим утешением, особенно теперь, когда мне предстоит очутиться так далеко от дорогих мне людей. Признаюсь тебе даже, что я возымела намеренье усыновить какого-нибудь ребенка, — мне предлагают сиротку трех лет, из хорошей семьи. Я еще не дала никакого ответа, ни положительного, ни отрицательного. Если суждено этому ребенку быть у меня, то он у меня будет; эта мысль очень меня занимает. Конечно, тебе она не покажется недостойной одобрения, если ты пожелаешь хорошенько вникнуть в мое положение. Воспитание этого ребенка доставит мне еще некоторые радости, и я несомненно сумею заставить себя полюбить его. Ты же, любезный друг мой, поступи, как тебе угодно, я не хочу тебя обманывать. Я слишком боюсь опять заболеть и, конечно, приму всевозможные меры против этого».¹ В начале осени 1832 г. она приехала к мужу, в Варшаву.² На каком условии сошлись супруги, это нетрудно сообразить по прозрачным намекам того же насмешника Алексея Вульфа, который писал сестре Анне Николаевне (14 мая 1833 г.): «если Ольга Сергеевна и намеревалась с мужем жить по-братски, то можно ли было предполагать, что он для того ее вывезет из Петербурга в Варшаву, чтобы сидеть против нее и любоваться ею? Таких идеалов не должно искать в этом мире».³ Циник не ошибся, Ольга

¹ «Пушк. и его соврем.» XV, 130.

² Л. Майков, «Пушкин», 185.

³ «Пушк. и его соврем.» I, 100.

Сергеевна не выдержала слишком долгого карантина, и летом следующего года тот же легкоязычный Вульф, узнав об ее беременности, пишет сестре: «она немного поздно взялась за материнское дело, и я любопытен знать, один ли Павлицев помогает ей»¹, а Анна Николаевна в свою очередь пишет жене Александра Сергеевича: «не могу в себя придти от изумления насчет Ольги, но уверены ли вы в этом? Приятно было бы увидеть ее когда-нибудь матерью; кажется, она покорно последовала советам своей подруги г-жи Харлинской², которая перед отъездом самым сантиментальным образом умоляла ее любить своего мужа и быть доброй женой»³. 8 октября Ольга Сергеевна благополучно разрешилась сыном⁴. Старики Пушкины были вне себя от радости; бабушка Надежда Осиповна даже объявила, что уже любит первенца дочери больше, чем детей Александра⁵.

В конце лета 1835 г. Ольга Сергеевна опять надолго разлучается с мужем, берет с собою маленького Лелю (Льва) и едет в Петербург. Она мать, и в ней усиливается семейный эгоизм. Теперь она несколько ревнивее относится к денежным интересам своего мужа и охотнее прежнего выступает посредницей в его деловых сношениях с братом Александром и отцом. С Натальей Николаевной, вообще очень уживчивой, она опять подружилась, а также с ее сестрами, «женами» поэта: «теперь у него целых три, как тебе известно», пишет она мужу. «Они хороши, его свояченицы, но они ничто в сравнении с Натали». Не совсем понравилось ей чрезмерное подчинение Пушкина жене, и она с досадой пишет мужу: «они уже не едут в нижегородскую деревню, как предполагал барин, потому что барыня об этом и слышать не хочет, и он ограничивается

¹ «Пушкин и его соврем.», XV, 111.

² О Харлинской см. в письмах О. С. к мужу («Пушк. и его совр.» XV, 113, 116 — 117, 119 — 120).

³ Письмо А. Н. Вульф к Н. Н. Пушкиной 28 июня [1834 г.], в Пушкинском Доме.

⁴ Л. Н. Павлицев; скончался в Петербурге 6 июля 1915 г.

⁵ «Пушкин и его соврем.» XIV, 23.

поездкой на несколько дней¹ в Тригорское, а она из Петербурга не тронется»² Теперь она не без удивления открывает в брате какие-то новые черты: «Знаешь что?» — пишет она Николаю Ивановичу. — «Он очень порядочный и дела понимает, хотя и не деловой», — суждение, которому нельзя отказать в меткости. Умиляет ее отношение брата к ней и племяннику: «он, по видимому, опять меня очень любит и Лелю моего очень любит и ласкает»³. Вместе с тем она отмечает (в конце 1835 г.), как опутан заботами брат: «он слишком много думает о своем доме, о своих ребятишках и о туалетах своей жены». Он забыл даже старый праздник родительской семьи, день рождения Ольги Сергеевны.⁴ В это время она встречалась с Дантесом и знала, что он увлечен Натальей Николаевной, но не придавала этому серьезного значения. До лета 1836 г. прожила Ольга Сергеевна в Петербурге, где при ней 29 марта умерла Надежда Осиповна. Вскоре приехал в Петербург Николай Иванович. Затем две недели она прогостила у брата, на даче на Каменном острове, а в конце июня выехала с мужем и сыном в Михайловское. С тех пор она уже не видела брата. Он собирался приехать летом в Михайловское, да так и не собрался. Все почти лето она там проболела, а в сентябре Павлицев повез жену и ребенка обратно в Варшаву.

Оттуда Ольга Сергеевна продолжала писать отцу, находившемуся теперь в Москве, а ее муж попрежнему приставал и к нему, и к шурину с напоминаниями, что необходимо «обеспечить будущность Ольги». Он уже раньше склонял поэта уступить ему на явно невыгодных для Пушкина условиях Михайловское: «оно в моих руках будет кусок хлеба, а в ваших, простите откровенности, дача - игрушка». «Так, для меня», — отвечал Пушкин, — но дети мои ничуть не богаче ва-

¹ Слово «дней» О. С. многозначительно подчеркнула. Она знала, конечно, что брат мечтал совсем покинуть Петербург. В Псковской губернии Пушкин провел в сентябре — октябре 1835 г. около шести недель.

² «Пушкин и его соврем.» XVII — XVIII, 162.

³ Там же, 193.

⁴ Там же, 202.

шего Лели, и я их будущностью и собственностью шутить не могу». Ольга Сергеевна опять забеременела, и беременность ее протекала довольно тяжело. Ее очень удивило сообщенное ей отцом известие, что Дантес женится на Екатерине Гончаровой. Она сперва верить этому не хотела: «ведь его увлечение Натали ни для кого не было тайной; я это хорошо знала, когда была в Петербурге, и меня это тоже забавляло; тут, поверьте мне, есть что-то подозрительное или не совсем понятное, и очень может быть, что этот брак не состоится»¹, писала она отцу (24 декабря 1836 г.). Прошел месяц с небольшим, и в Варшаву пришла весть о гибели Пушкина.²

Это был тяжелый удар для бедной Ольги Сергеевны, и невыразимо грустны ее письма³ к Сергею Львовичу. Она в них заметно бодрится, чтобы еще больше не расстраивать отца, старается его по возможности утешить и уверяет, что ее здоровье не пошатнулось, когда она узнала о смерти Александра: «в скорби черствеешь, когда не ждешь ничего доброго впереди». Есть основания не совсем верить этой бодрости. По поводу слов умирающего Пушкина жене, что она не виновата, Ольга Сергеевна замечает: «право, это больше чем доброта, это величие души, это лучше прощения», но сама она не может без колебаний признать поведение невестки безупречным. «Теперь я не стану скрывать от вас, что общественное мнение раздвоилось; если большинство считает вполне правым Александра, то некоторые, чтобы оправдать Наталью Николаевну, винят его в слепой, безумной ревности, а пока сохранится память об ее молодости и красоте, у нее будет много сторонников». Старик огорчился тем, что вдова сына ничего ему еще не написала, и объяснил это влиянием ее тетки, Е. И. Загряжской. Ольга Сергеевна утешает отца: «если она действительно лишь неповинная причина смерти моего бедного брата, если совесть ни в чем ее не упрекает, то, поверьте мне, не только Катерина Ивановна, но ничто в мире не может помешать ей написать вам. Она вам на-

¹ «Пушкин и его соврем.» XII, 94.

² Там же, 103; Л. Н. Павлищев, 65.

³ «Пушк. и его соврем.», XII, 103—110.

пишет, не сомневайтесь в этом». Старик сетовал на друзей покойного сына, которые могли бы, будь они внимательнее к нему и проникательнее, предотвратить несчастье. «Однако очень может быть, — возражает Ольга Сергеевна, — что Александр таился от них, а если уж винить тут кого-нибудь в беспечности и невнимательности, то по-моему скорее всех надо винить Загряжскую, которая каждый день бывала в доме Натали, вертела ею как хотела, имела такое влияние на Александра». . . Она передает отцу мнение баронессы Е. Н. Вревской, свидетельницы последних дней жизни Пушкина: «он счастлив, что избавлен от этих душевных страданий, которые так ужасно его мучили последнее время его существования». Сообщая Н. И. Павлицеву эти слова, муж Е. Н. Вревской прибавил: «Александр Сергеевич очень часто говорил с нею про Ольгу Сергеевну и с большой нежностью; он очень жалел об ее беременности». . .¹ Несмотря на пережитое горе, она 23 мая благополучно родила дочь Надежду.² Больше детей у нее не было.

Потянулись для Ольги Сергеевны долгие, скучные годы, наступил пожилой возраст. С мужем она то расходилась, то снова сходилась. Наконец она окончательно рассталась с этим бездушным человеком и поселилась в Петербурге, где воспитывался ее сын. С детства настроенная романтически, любившая одиночество, Ольга Сергеевна занималась чтением, причем особенно увлекали ее мистики. Она была хранительницей семейных преданий о какой-то белой женщине, двойнике, таинственных голосах и прочих чудесных происшествиях, игравших роль в жизни семьи Пушкиных. В середине века, когда вся Россия занялась столоверчением, увлеклась им и Ольга Сергеевна.³ Ей казалось, что она беседует с тенью брата Александра, которая приказала ей сжечь ее записки, что она и исполнила.

¹ «Пушкин и его contempor.» XII, 111.

² Н. Н. Павлицева, в замужестве Пане, умерла 11 февраля 1909 г. («Пушк. и его contempor.» XII, 85).

³ В бумагах кн. В. Ф. Одоевского сохранилось его «Письмо к О. С. Павлицевой о столоверчении» («Отчет Публ. Библ. за 1884 г.», СПб., 1887, прилож., стр. 44).

Если это известие, сообщаемое ее сыном, верно, то об уничтоженных записках сестры Пушкина можно пожалеть не только как о драгоценном материале для биографии поэта, но и как о литературном документе.

«Если ты в родню, так ты литератор», — писал однажды Пушкин брату Льву. Ольга Сергеевна тоже удалась в родню. Вся семья Пушкиных была литературной. Ольга Сергеевна выросла в доме, где все писали, где бывали писатели. Сергей Львович сочинял альбомные стишки, добрый и чудаковатый дядя Василий Львович считался в числе не последних поэтов начала века. Писал стихи, очень недурные подчас, брат Лев. Подчиняясь этой фамильной страсти, писала стихи и Ольга Сергеевна. Несколько ее пьес, русских и французских, приводит Л. Н. Павлицев. Стихотворения Ольги Сергеевны слабы, и читателю трудно разделить восхищение, с которым любящий сын рассказывает, как Ольга Сергеевна умела в пять минут сочинить посредственный французский акростих. Гораздо лучше ее эпиграммы; в них сказывается та насмешливость, которая была свойственна всей ее семье и так игриво бьет ключом и сверкает в произведениях ее брата. В сатирическом описании какого-то званого вечера очень недурно нарисованы ею балльные маменьки, восседающие на страже, пока танцуют их дочери:

По стенам вокруг
Грозный ряд старух
Сидит жабами.

Довольно ядовита эпиграмма на какую-то поповну, к которой Ольга Сергеевна обращается:

Грустна ты, словно панихида,
И молчалива, как кутья...

Очень живы ее письма (почти сплошь французские), пером она владела легко, и можно пожалеть лишь об узости ее интересов, не выходявших за пределы тесного домашнего круга. Литературные суждения в них встречаются довольно редко. Вот, например, ее отзывы (в конце 1835 г.) о Бенедиктове, тогда разом покорившем публику, и Лажечникове: «я читала стихи Бенедиктова, — есть вещи прекрасные, но и безвкусия до-

вольно. . . «Ледяной дом» вовсе не хорош, и на каждом шагу плагиат, — и Юго, и скоттизм, мочи нет. Что собственное, то mauvais goût». ¹ Нам известны, надо заметить, почти исключительно письма ее к таким беззаботным на счет новой литературы людям, как родители, да к черствому Николаю Ивановичу, но до нас дошли лишь самые ничтожные следы ее переписки с братом Александром: ² с ним-то она наверно не раз беседовала о литературе по душам. Биографам его, П. И. Бартеневу, П. В. Анненкову, она помогла весьма ценными сообщениями. ³ С ее слов ее муж составил для Анненкова записку о детстве Пушкина, которою Анненков и воспользовался, но может быть не исчерпывающим образом; эта записка не уцелела в бумагах Анненкова ⁴. Она могла бы больше сделать для биографии своего брата, но можно ли винить ее в том, что она сделала мало, если вспомнить, что мало, обидно мало написали о Пушкине люди пера — Плетнев, Вяземский, Гоголь, ничего не написали Одоевский, Жуковский! . . . От пера отводила Ольгу Сергеевну также слабость зрения. Еще в сороковых годах она стала болеть глазами, в 1862 г. подверглась тяжкому нервному удару. Последние годы ее жизни протекли в непрерывных страданиях. Слабая, больная, почти ослепшая старуха терпеливо ждала смерти и готовила себя к ней размышлениями, которые передавала в стихах:

Смерть! не страшилищем вижу тебя!
 Вижу тебя я с улыбкой приветливой;
 Очи исполнены нежной любви;

¹ «Пушк. и его соврем.» XVII — XVIII, 203.

² В 1852 г. вдова поэта обещала дать для анненковского издания его сочинений «переписку Пушкина с сестрою, когда ему было 13 лет» (Б. Л. Модзалевский, «Пушкин», Лг., 1929, стр. 394). Об этой переписке до сих пор ничего не известно.

³ Анненков, «Матер. для биогр. П.», изд. 1854 г., стр. 1; «Анненков и его друзья», т. I, СПб., 1892, стр. 491 — 492; «Пушк. и его соврем.», XXXI — XXXII, 41. Неладья между соперниками-биографами брата, Анненковым и Бартеневым, были ей очень неприятны (Б. Л. Модзалевский, «Пушкин», Лг. 1929, стр. 305 — 317).

⁴ Л. Майков, «Пушкин», 3; Анненков («Пушк. в Александр. эпоху», стр. 283) сохранил ее показание о приходивших из Одессы к Пушкину в Михайловское письмах, запечатанных «талисманом».

Вижу тебя я в одежде, сияющей
Цветом весенних небес голубых;
Крылья распушены благоуханные,
Вея прохладою, белы, как снег;
Вижу вокруг тебя радугу ясную,
Ветвь примиренья во длани твоей!
Что же так медлишь полет твой, прекрасная?..

2 мая 1868 г. сестры Пушкина не стало. Похоронили ее на кладбище петербургского Новодевичьего монастыря. Несколько дней спустя, в Варшаве, тайный советник Павлищев служил панихиду по своей жене. Один очевидец занес в свой дневник, что Николай Иванович «казался очень прискорбным, а между тем многие лета с нею не жил». ¹ Через три года тот же мемуарист снова отметил, что «Павлищев, похоронивши жену свою, родную сестру поэта Александра Пушкина, и имея уже внучат, детей своей дочери, теперь на старости лет взбесился и женился на своей содержанке». ²

¹ «Дневник г.-м. В. А. Докудовского», Рязань, 1903, стр. 295.

² Там же, стр. 406.

РАННЯЯ ЛЮБОВЬ ПУШКИНА

«Первая любовь»... Эта краткая отметка записана под 1814 г. в беглой программе¹ автобиографических записок, которые Пушкин задумал писать, как верно определяет Анненков, «уже в эпоху своей известности и славы». ² Два лицейские товарища Пушкина упоминают о «первой» любви своего однокашника, но расходятся в своих показаниях.

«Первую, платоническую, истинно-поэтическую любовь возбудила в Пушкине сестра одного из лицейских товарищей его, фрейлина Екатерина Павловна Бакунина», писал С. Д. Комовский.³ Читая в рукописи статью В. П. Гаевского «Пушкин в лицее и лицейские его стихотворения», барон М. А. Корф остановился на имени графини Натальи Викторовны Кочубей и заметил: «едва ли не она (а не Бакунина) была первым предметом любви Пушкина». ⁴ Таким образом, вопрос о первой любви Пушкина еще не решен, и трудно сказать, кто именно была ее предметом — Бакунина или Кочубей.

Но в той же программе мы встречаем другую отметку, относящуюся к гораздо более раннему времени: «Р а н н я я л ю б о в ь». Наличие обеих отметок на одном листке и отнесение их самим поэтом к различным периодам ясно показывают, что Пушкин

¹ П. В. Анненков, «Материалы для биографии Пушкина», изд. 2-е, СПб., 1873, стр. 18 — 19; снимок в сочинениях Пушкина, ред. П. А. Ефремова, т. VIII, 1905 г., при стр. 574. В прямые скобки поставлены зачеркнутые слова.

² Анненков, назв. соч., 18.

³ «Пушкин. его лицейские товарищи и наставники», сборник Я. К. Грота, СПб., 1899, стр. 220.

⁴ «Пушкин и его современники», вып. VIII, стр. 25, 27 — 28.

резко отделял друг от друга оба эти события своей внутренней жизни.

«Первые впечатления. Юсупов сад — землетрясение — няня. Отъезд матери в деревню. — Первые неприятности — гувернантки. [Смерть Николая. Ранняя любовь] — Рожд. Льва. Мои неприятные воспоминания. — Смерть Николая. — Монфор. — Русло. — Кат. П. и Ан. Ив. — Нестерпимое состояние. — Охота к чтению. — Меня везут в П. Б. Езуиты. Тургенев. Лицей».

Брат Пушкина Николай умер в 1807 г.¹ Другой брат, Лев, родился в 1805 г. Конечно, нельзя предполагать, что изложение событий в программе следует в строгом хронологическом порядке, и требованиям полной точности она удовлетворить не может. Но такая точность и не нужна. Достаточно и того, что программой неопровержимо устанавливается определенный, сравнительно небольшой период времени, к которому относится запись: «Ранняя любовь». Пушкину тогда было 6—9 лет.

Что Пушкин очень рано стал созревать, что первоначальное детство его длилось недолго, этому мы имеем ясное свидетельство; оно по психологической ценности своей дороже и значительнее всяких показаний, которые могли бы нам дать свидетели его детства, если бы они их оставили побольше. До нас дошли очень ранние стихотворения Пушкина, относящиеся к первым годам его пребывания в лицее, когда ему было лет 13—14. В этом возрасте большинство мальчиков еще дети, и на литературных опытах таких мальчиков еще лежит печать детства. Но ни малейшей «детскости» мы не находим в ранних стихах Пушкина; они еще незрелы, подражательны, слабы, но в них видно мироотношение отрока, а не ребенка. В лицей Пушкин вошел уже не ребенком. Детство оставило его еще в родительском доме. Уже зрелым мужем, окидывая беглым взором прожитые годы, он резко отграничил детство от отрочества, — «первую любовь» от «ранней любви». Раннюю любовь он не внес даже в «счет» своих сердечных переживаний, как бы говоря, что это чувство не было, не могло быть настоящею любовью.

¹ Анненков, 5, 158.

Это о «первой» любви, а не о «ранней» говорил он, вспоминая про свой расцвет в садах лицей, про те дни, когда

Говорить старался басом
И стриг над губой первый пух...
. те дни, когда впервые
Заметил я черты живые
Прелестной девы, и любовь
Младую взволновала кровь,
И я, тоскуя безнадежно,
Томясь обманов пылких снов,
Везде искал ее следов,
Об ней задумывался нежно,
Весь день минутной встречи ждал
И счастье тайных мук узнал...¹

О ранней любви, детской любви Пушкин не мог сохранить таких жгучих воспоминаний. Но и она, конечно, не прошла бесследно для его души. Он уже переживал «первую» любовь или, по крайней мере, мучился отроческой тоскою по любви, когда, «томясь обманом пылких снов», вспоминал свою «раннюю» любовь, и это воспоминание заполнило его сердце. Не по-детски говорит он о ней, не по-детски рисует ее. Это было в 1815 г. Пушкину было тогда 16 лет. Он писал («Послание к Юдину»):

Доселе в резвости беспечной
Брели по розам дни мои,
В невинной ясности сердечной
Не знал мучений я любви.
Но быстро день за днем умчался.
Где ж детства ранние следы?
Прелестный возраст миновался,
Увяли первые цветы!
Уж сердце в радости не бьется
При виде милом мотылька,
Что в воздухе кружит и вьется
С дыханьем тихим ветерка, —
И в беспокойстве непонятном
Пылаю, тлею, кровь горит,
И все языком, сердцу внятным,
О нежной страсти говорит.
Подруга возраста златова,

¹ «Евгений Онегин», гл. 8-ая, варианты.

Подруга красных детских лет,
 Тебя ли вижу, взоров свет,
 Друг сердца, милая***,
 Везде со мною образ твой,
 Везде со мною призрак милый:
 Во тьме полуночи унылой,
 В часы денницы золотой —
 То на конце аллеи темной
 Вечерней, тихою порой,
 Одну, в задумчивости томной,
 Тебя я вижу пред собой,
 Твой шалью стан не покровенный,
 Твой взор на груди потупленный,
 В щеках любви стыдливой цвет...
 Все тихо; брежжет лунный свет,
 Нахмурясь тополь шевелится,
 Уж сумрак тусклой пеленой
 На холмы дальные ложится,
 И завес рощицы струится
 Над тихо спящею волной,
 Осеребренною луной.
 Одна ты в рощице со мною,
 На костыли¹ мои склонясь,
 Стоишь под ивою густою,
 И ветер сумраков, резвясь,
 На снежну грудь прохладой дует
 Играет локоном власов
 И ногу стройную рисует
 Сквозь белоснежный твой покров...
 То часом полночи глубоким
 Пред теремом твоим высоким,
 Ужасной зимнею порой,
 Я жду красавицу драгую.
 Готовы сани; мрак густой,
 Все спит, один лишь я тоскую,
 Зову часов ленивый бой...
 И шорох чудится глухой,
 И вот уж шопот слышу сладкой,
 С крыльца прелестная сошла,
 Чуть-чуть дыша идет украдкой,
 И дева друга обняла.
 Помчались кони, вдаль пустились,
 По ветру гривы распустились,
 Несутся в снежной глубине,
 Прижалась робко ты ко мне, —
 Чуть-чуть дыша; мы обомлели...
 В восторгах чувства онемели,
 Но что! мечтанья отлетели!
 Увы! я счастлив был во сне...

¹ Поэт изображает себя вернувшимся с «поля битв и чести».

«Послание к Юдину» долго печаталось только в извлечениях,¹ и приведенный отрывок появился лишь в «Русской старине» 1884 г. (февраль, стр. 433 — 434), где впервые была напечатана вся пьеса с собственноручного пушкинского подлинника. Анненков² находил, что стихотворение «наивно, как ученическая мечта», но не мог не заметить, что в этих «ранних мечтах» видны «какая-то существенность и ясность»; описанием Захарова, где Пушкин провел часть своего детства, Анненков даже воспользовался как биографическим материалом.³ Никто из писавших о детстве Пушкина не оценил как должно этого рассказа поэта, как никто не заинтересовался многозначительной записью: «Ранняя любовь» в набросанном Пушкиным плане автобиографии. Между тем за этими признаниями самого поэта кроется весьма значительный в психологическом отношении момент внутренней жизни Пушкина.

Л. Н. Майков⁴ сделал попытку разъяснить, чье имя заменено в послании тремя звездочками; кто была та, которая впервые пробудила детское сердце будущего поэта. «Сознаваясь, что еще не знает истинной любви, и только мечтая о ней, автор «Послания к Юдину» все-же сохраняет живое чувство действительности: среди этих мечтаний вспоминает подругу своих детских игр, но имени ее не решается доверить даже своей рукописи и заменяет его тремя звездочками. Комментарий к Пушкину не связан такою сдержанностью, и в нем позволительно высказать по крайней мере догадку о лице, которое можно разуместь под тремя звездочками «Послания»: по всему вероятно, это — Мария Дмитриевна Мертваго, которая в 1810 — 1812 гг. жила со своими родителями в селе Демьянове под Клином; ее отец, один из видных административных деятелей Александровского времени, известный своим бескоры-

¹ Сочинения Пушкина, изд. Анненкова, т. I, стр. 6; т. II, стр. 148 — 150; перепечат. в изданиях Геннади, 1859 г., т. I, стр. 151 — 153, и Ефремова, 1880 г., I, 126 — 128; 1882 г., I, 122 — 124.

² Сочин. П., II, 149.

³ Назв. соч., I, 6.

⁴ Соч. П., изд. Академии Наук, т. I, изд. 2-ое, примеч., стр. 163 — 164.

стием, был женат на Варваре Марковне Полторацкой, а с многочисленной семьей Полторацких Пушкины состояли в коротких сношениях; Демьяново приходилось на пути из Москвы в Петербург и, как рассказывает Д. Б. Мертваго в своих «Записках» (издание «Русского архива», М., 1867, ст. 312), все его знакомые, следуя по этой дороге, заезжали в его имение; очень может быть (?), что там побывал и Пушкин, когда, в исходе лета 1811 года, дядя Василий Львович повез его в Петербург для помещения в лицей: правда, молодой Мертваго едва минуло тогда пять лет, но ведь и Пушкину было всего двенадцать лет; эта детская встреча и могла послужить поводом к мечтаниям, которым юный автор «Послания к Юдину» заключает свое произведение».

Догадка Майкова была без всяких колебаний принята П. О. Морозовым, который даже внес в текст «Послания к Юдину» в редактированном им издании имя «Мертваго»,¹ а в примечаниях к плану автобиографии² заметил, что «ранняя любовь — быть может воспоминание о Маше Мертваго». Зато эта догадка вызвала вполне резонное возражение П. А. Ефремова:³ «Л. Н. Майков полагает, что в стихотворении этом Пушкин вспоминает «подругу возраста златого, подругу красных детских лет» Марию Дмитриевну Мертваго, которая жила с родителями в 1810—1818 гг. в с. Демьянове, под Клином. Но это не по соседству, а «красные детские годы» должно бы ограничить только одним 1810-м, когда «подруге возраста златого» было только 5 лет. Если б это была Мертваго, Пушкин не поставил бы для рифмы слово, которое надо читать златого, для рифмы же с «златова» не стал бы переменять фамилию в «Мертвова». Ему рифм не надо было искать, сами приходили».

Разбирая высказанные Майковым и Ефремовым соображения, С. А. Венгеров⁴ заметил: «Конечно, никому не возбраняется «высказать, по крайней мере,

¹ Издание «Просвещения», I, 123, 437.

² То же издание, VI, 695

³ Сочин. П., т. VIII, 1905 г., стр. 34 — 35.

⁴ Сочинения Пушкина, изд. Брокгауз-Ефрона, I, 275, 282, 284.

догадку», но надо для этого иметь хоть какое-нибудь основание. А Майков и намек на такое основание не представил. И совершенно непонятно, почему его внимание остановилось на пятилетней Мертваго, которую Пушкин видел (?) во время какой-то остановки по пути в Петербург... Соображения Ефремова получают подкрепление в орфографии первоисточника для «Послания к Юдину» — рукописи Румянц. музея, № 2364, согласно которой в нашем издании рифмующий с *** стих напечатан так:

Подруга возраста златова.

Итак, догадка относительно Мертваго падает само собой, и при добром желании можно начать розыски среди знакомых Пушкина какой-нибудь девицы с фамилией Благово, Петрово-Соловова, Дурново и т. д.

Но если «Послание к Юдину» не дает оснований для точного указания определенного лица, то возможно однако, что оно устанавливает какой-то неизвестный нам романический эпизод из истории детства Пушкина. Все послание носит на себе яркие следы автобиографичности, и нет основания именно в эпизоде с «подругой возраста златова» усматривать простое литературное упражнение. Но, конечно, при той смеси *Wahrheit und Dichtung*, которую представляет собою лицейское творчество Пушкина, вполне возможно и то, что неизвестный нам из семейных преданий предмет ранней страсти Пушкина как раз всецело относится к области *Dichtung*».

Совпадение автобиографической заметы «Ранняя любовь» с заключающимся в «Послании к Юдину» рассказом вполне подтверждает, что здесь мы имеем дело не с *Dichtung*, а с *Wahrheit*, и что «подруга возраста златова» никак не вымысел. Странно было бы искать рифму к «златова» среди фамилий на «ово» (Благово, Петрово-Соловова) или даже «ово» (Дурново), но имеются основания к догадке более вероятной, чем предположение Майкова. Последнее должно быть отвергнуто не только потому, что Пушкин не мог рифмовать «златова» и «Мертваго», а прежде всего потому, что самое знакомство с этой семьей вовсе не доказано, что остановка его в их деревне тоже только предположе-

ние, ни на чем не основанное. К тому же — и это самое главное, — как видно из автобиографического наброска Пушкина, «раннюю любовь» Пушкин испытал задолго до отъезда в Петербург, в еще более раннем возрасте, когда Марии Мертваго было года два, а то и меньше!.. После признания самого поэта, признания не поэтического, в котором еще можно было бы предполагать вымысел, а чисто-биографического, относящегося к тому времени, когда он собирался писать историю своей жизни, сомневаться в событии, о котором согласно говорят автобиографическая запись и «Послание к Юдину», уже не приходится. Первая ясно, строго-формально устанавливает факт; второе его подтверждает и даже подсказывает разъясняющую догадку.

Кто была эта «подруга возраста златова»? Нечего и говорить, что имя ее нужно искать действительно в той среде, в которой протекло детство Пушкина. Дошедшие до нас скудные сведения о детстве поэта, разумеется, далеко не исчерпывают всего круга знакомств семьи Пушкина. Среди всех известных нам имен мы нашли лишь одно «подходящее», которое не только дает возможность подставить под *** правильную рифму к «подруге возраста златова», но даже рисует эпизод более вероятный, чем догадка Майкова.

Из московских сторожилов, рассказами которых пользовался П. И. Бартенев, еще в начале 50-х годов принявшийся за изучение жизни Пушкина, многие хорошо помнили допожарную Москву, семью Пушкиных и детство поэта. «Маленький Пушкин», — рассказывает П. И. Бартенев,¹ — «часто бывал у Трубецких (князя Ивана Дмитриевича) и у Сушковых (Николая Михайловича, тоже литератора), а по четвергам его возили на знаменитые детские балы танцмейстера Йогеля».

Невольно напрашивается фамилия — Сушкова. У Н. М. Сушкова действительно была дочь, притом единственная — София Николаевна. Бывая у Сушковых, Пушкин не мог ее не знать, и, конечно, она не раз участвовала вместе с будущим поэтом в общих детских

¹ «А. С. Пушкин. Материалы для его биографии. Гл. I-я Детство» («Московские Ведомости» 1854 г., № 71; отд. отт., стр. 15).

играх. Пушкин был немногим старше ее. С. Н. Сушкова родилась в 1800 г., совсем молоденькой вышла за А. А. Панчулидзева,¹ родила ему четырех сыновей и умерла 23 июня 1848 г. Кроме этих данных, нам ничего больше о ней неизвестно.

«Подруга возраста златова, друг сердца, милая Сушкова». . . Эта гипотеза не только дает верную рифму, но и вполне согласуется с сведениями, правда скудными, которыми мы располагаем, и во всяком случае вероятнее майковской догадки. Но Сушкова ли, другая ли, — не это важно. Не столько в историческом, сколько в психологическом отношении для нас важен факт, о котором рассказал нам сам поэт, — «ранняя любовь», открывшая собою длинный ряд сердечных увлечений,² то серьезных и глубоких, то мимолетных и легкомысленных, но неизменно озаренных отсветом поэзии и в большей или меньшей степени хранивших в своей основе томление по любящей женской душе, по «вечно-женственному». Сердцем поэт начал жить еще раньше, чем разумом.

Каков я прежде был, таков и ныне я:
Беспечный, влюбчивый. Вы знаете, друзья,
Могу ль на красоту взирать без умиления,
Без робкой нежности и тайного волнения.
Уж мало ли любовь играла в жизни мной?..

Это «прежде» Пушкин мог отнести еще к годам детства. Не вспоминал ли он, когда писал эти строки, про свою «раннюю любовь»?..

¹ Это тот самый Александр Алексеевич Панчулидзева (1790 — 1867), знаменитый в летописях российского помпадурства пензенский гражданский губернатор (1831 — 1859 гг.), казнокрад и взяточник, который небескорыстно покровительствовал ссыльному Н. П. Огареву, женившемуся на его племяннице М. Л. Рославлевой. (Сочинения А. И. Герцена, под ред. М. К. Лемке, I, 264 — 265; VI, 164 — 165; XIII, 74 — 75; М. О. Гершензон, «Образы прошлого», М., 1912, стр. 329 — 330, 533 — 534; Л. М. Жемчужников, «Мои воспоминания», вып. II, М., 1927, стр. 200, 202, 206 — 207, 214; Н. П. Огарев, Кавказские воды, отрывок из моей исповеди» «Полярная Звезда» на 1861 г. кн. 6, стр. 338, 343; Н. А. Тучкова-Огарева, «Воспоминания», ред. С. А. Переселенкова, Лг., 1929, стр. 36, 49 — 50, 121, 122, 143).

² См. мою статью «Дон-Жуанский список» в сочин. Пушкина, изд. Брокгауз-Ефрона, IV, 88 — 100.

ЗАБЫТЫЕ ПЛОДЫ ЛИЦЕЙСКОЙ МУЗЫ

I

ГАРАЛЬ и ГАЛЬВИНА

Взошла луна над дремлющим заливом,
В глухой туман окрестности легли;
Полночный ветер качает корабли
И в парусе шумит нетерпеливом.
Взойдет заря, — далек их будет строй.
Остри свой меч, воитель молодой!

Где ты, Гараль? Печальная Гальвина
Ждет милого в пещерной темноте.
Спеши, Гараль, к унылой красоте!
Заря блеснет, — и гордая дружина
Умчится вдаль, грозящая войной.
Где ты, где ты, воитель молодой?

Гальвина с ним. О, сколько слез печали,
И сколько слез восторгов и любви!
Но край небес бледнеет, и в дали
Редает тень. Уж латы зазвучали;
Близка заря; несется шум глухой...
Что медлишь ты, воитель молодой?

Призывному Гальвина клику внемлет,
Тоски, надежд и робости полна.
Едва дыша, разлуки ждет она;
Но юноша на персях девы дремлет.
Призывы битв умолкли за горой, —
Не слышал их воитель молодой.

Уже суда покинуть брег готовы,
К ним юноши с веселием бегут,
Прощальну длань подругам подают.

Златой зари раскинулись покровы;
Но, утомлен любовью и тоской,
Покоится воитель молодой.

Пылает день. Он открывает очи.
Гальвина мнит ласкающей рукой
Сокрыть от глаз досадный свет дневной.
«Прости, пора! Сокрылись тени ночи:
Спешу к мечам!» воскликнул — и стрелой
Летит на брег воитель молодой.

Но тихо все; лишь у пустого берега
Подъемлетя шумящая волна;
Лишь дева там, печальна и бледна,
И вдалеке плывут ладьи набега.
О, для чего печальной красотой
Пленялся ты, воитель молодой?

Она в слезах; в немой воитель думе.
«О, милый друг! О, жизнь души моей!
Что слава нам? Что делать средь мечей?
Пускай другой несется в бранном шуме;
Но я твоя, ты вечно, вечно мой! . .
Забудь войну, воитель молодой!»

Гараль молчал. Надменное ветрило
Его звало к боям чужой земли;
Но с бурей так быстро корабли
Летели вдаль, и дева так уныло
Его влекла трепещущей рукой. . .
Все, все забыл воитель молодой!

И он у ног своей подруги нежной
Сказал: «Пускай гремят набег и брань:
Забыла меч ослабленная длань!»
Их дни слились в отраде безмятежной;
Лишь у берегов, терзаемых волной,
Дрожа, краснел воитель молодой.

Но быстро дни восторгов пролетели.
Бойцы плывут к берегам родной земли;
Сыны побед с добычей притекли,
И скальды им хваленья песнь воспели.
Тогда поник бесславною главой
На пиршествах воитель молодой.

Могучие наперсники судьбины
 К ногам невест повергли меч и щит;
 Кровавый меч героев не лежит
 У ног одной оставленной Гальвины:
 Красавица вздохнула, — и другой
 Ее пленил воитель молодой.

С тех пор один бродил Гараль унылой,
 Умолк его веселый прежде глас;
 Лишь иногда в безмолвный ночи час
 Уединен шептал он имя милой.
 Война зажглась, — и встречи роковой
 Пошел искать воитель молодой.

История этого стихотворения довольно любопытна. Впервые о нем в печати упомянул П. В. Анненков в VII (дополнительном) томе своего издания сочинений Пушкина¹: «мы приняли смелость исключить из дополнительного тома нашего несколько ученических упражнений Пушкина, еще ходящих по рукам и ему приписываемых, как, например, «Гараль и Гальвина»...» Несколько лет спустя Н. В. Гербель («Русский») в своем известном томике запрещенных тогда в России стихотворений Пушкина² назвал эту пьесу в числе тех, непринадлежность которых Пушкину «положительно доказана» Анненковым. Где и как доказал это Анненков, Гербель не сообщил, но, вероятно, нигде и никак, потому что пятнадцать лет спустя тот же Гербель, печатая материалы «Для будущего полного собрания сочинений А. С. Пушкина» и пересматривая вопрос о двух-трех стихотворениях, с большим или меньшим вероятно приписываемых Пушкину, писал: «некоторые стихотворения, не признанные за пушкинские, оказываются ныне принадлежащими ему».³ И Гербель ссылается на отвергнутую Анненковым «Рефутацию Беранжера», которая несомненно принадлежит Пушкину, и попутно выдвигает пьесу «Гараль и Гальвина», которая, по мнению «весьма компетентных людей», «очень напоминает юношескую манеру нашего великого поэта» и совер-

¹ 1857 г., стр. 9.

² Берлин, 1861 г., стр. IX.

³ «Русс. Архив» 1876 г., III, 206.

шенно схожа по манере и стиху с стихотворениями его того же периода, именно с «Осгаром» и «Эвлегою». Придерживаясь последнего мнения, мы нашли нужным поместить их в числе стихотворений Пушкина, представляя критике сказать о том свое последнее слово. И Гербель напечатал тут пьесу¹ с следующим примечанием: «Стихотворение это до сих пор напечатано не было. Оно написано Пушкиным еще в лицее и относится к одному времени с написанными им же стихотворениями «Осгар» и «Эвлега». Несмотря на тон пьесы, видимо настроенный под Оссиановский, в ней, тем не менее, всё говорит о том влиянии французских поэтов, под которым Пушкин находился в первые годы своей поэтической деятельности, и которому не чужды были даже Жуковский и Батюшков. Наконец, самая форма «Гаралья и Гальвины» — чисто-французская форма начала нашего века».

П. А. Ефремов, издав сочинения Пушкина,² отверг пьесу, глухо указав, что она в рукописях всегда встречается с именем А. Шидловского. Мы должны по этому поводу заметить, что нам она в рукописях не встречалась, хотя мы их перевидали много, и об А. Шидловском, маленьком и очень мало напечатавшем стихотворце Пушкинской эпохи, вообще почти ничего неизвестно. На Ефремова безоглядно полагаться нельзя; Н. В. Измайлов³ по поводу одной ефремовской атрибуции справедливо замечает: «заявлениям Ефремова далеко не всегда можно верить». Он в своих редакторских приемах был капризен и грубоват и, например, отверг анекдот о Байроне и эпиграмму на Шаликова,⁴ а они несомненно Пушкина, и вторую из них, надо прибавить, мы находим в «Русском архиве» у Гербеля, который вообще отличался осторожностью и добросовестностью. Но Ефремову другими редакторами, мало осведомленными и не очень вдумчивыми, был оказан кредит, и в сочинения Пушкина пьеса «Гараль и

¹ «Русс. Архив» 1876, III, 223 — 225.

² 1880 г., I, 508; повторено в изд. 1882 г., I, 468.

³ Сборн. «Атеней», III, Лг., 1926, стр. 30.

⁴ «Мнимый Пушкин в стихах, прозе и изображениях» («Новое время» 1903 г., №№ 9845 и 9851).

Гальвина» не включалась, а со временем была совершенно забыта. Вопрос этот, как видно, до сих пор еще не решенный, нуждается в пересмотре.

В ранней молодости поэт пережил сильное влияние поэзии Оссиана и порожденного ею в европейском искусстве стиля. В России конца XVIII и начала XIX вв. увлечение Оссианом было одним из «знамений времени». Оссиан пленял Державина и Кострова, «потрясал сердце» Карамзина, вдохновлял Суворова и Ермолова, действовал на Гнедича, Жуковского, Батюшкова. Не избежал его могучей притягательной силы и незрелый еще Пушкин. Самыми отчетливыми следами этого воздействия на Пушкина остались три пьесы: «Кольна», «Эвлега» и «Осгар»; все они относятся к 1814 г. При жизни Пушкина появилась в печати только первая (в «Вестн. Европы», 1814 г.), а двух других Пушкин никогда не хотел печатать, считая их слишком «зелеными», и они были опубликованы лишь в посмертном издании его произведений. К этому же оссиановскому циклу принадлежит «Гараль и Гальвина». Прочитайте все четыре пьесы сряду и вы почувствуете во всех их одну и ту же руку. Но еще более убеждает в этом кропотливый разбор деталей занимающей нас пьесы. Мы видим в ней те же композиционные приемы, те же образы, те же эпитеты, тот же типичный ритмический ход строфы, которые встречаем вообще в пушкинском творчестве, особенно же лицейского периода, и в частности в оссиановских пьесах. Черты оссианизма видны в «Воспоминаниях в Царском Селе», «Мечтателе», «Сраженном рыцаре», «Наездниках». В лицее преподаватель словесности Кошанский знакомил учеников с Оссианом по переложению Е. И. Кострова и заражал их своим восторгом. «Оссиан был настольной книгой в лицее и составлял некоторое время любимое чтение Пушкина». ¹

Начинается пьеса сумрачным, туманным оссиановским пейзажем, как «Кольна», «Эвлега», «Осгар», «Леда», «Блаженство», «Воспоминания в Царском Селе»

¹ В. П. Гаевский, «Пушкин в лицее» («Современник» 1863 г., № 7, стр. 164 — 165).

(1814 г.), «Наполеон на Эльбе», «Мечтатель», «Гроб Анакреона», «Сраженный рыцарь» (1815 г.), «К Наташе», «Осеннее утро» (1816 г.). Довольно нередка у молодого Пушкина куплетная форма («Эвлега», «Опытность», «Рассудок и любовь», «Певец», «Couplets»). Но вот целый ряд отдельных выражений, повторяющихся у Пушкина и обличающих его авторство.

Строфа 1. «Дремлющий залив» — «И дремлющий залив, и черных скал вершины» («Редет облаков летучая гряда...»). «В глухой туман окрестности легли» — «Легла в туман пучина бурных волн» («Наполеон на Эльбе»); это оригинальное выражение встречается лишь у Пушкина и больше ни у кого. «Глухой туман», а также «шум глухой» (в 3-й строфе) напоминают о весьма частом, широком и разнообразном употреблении этого эпитета у Пушкина, который часто брал свои определения из области слуховых восприятий (см. интересные наблюдения Инн. Оксенова «О поэтическом слухе Пушкина» — «Книга и революция» 1921 г., № 8—9, стр. 30—32). «Глухая пустыня» и «глухие стены» («К сестре»), «долина глухая» («Сраженный рыцарь»), «глухое запустенье» («Осеннее утро»), лиры «звон глухой» («Уныние», 1816 г.), «глухие судьбы» («Безверие»), «безвестность глухая» («Дельвигу», 1817 г., первоначальная редакция), «глухие дубровы» («Русалка», 1819 г.), «глухая полночь» («Руслан и Людмила»), «глухая трава» («Кавказский пленник»), «глухие ответы» («Полтава»), «глухая слава» («Моцарт и Сальери») и т. п. «Нетерпеливый парус» — «нетерпеливая рука» (посл. Жуковскому, 1818 г.).

Строфа 2. «В пещерной темноте» — «И бросила со страхом хлад пещерный» («Эвлега»); сравн.: «В ужасной темноте пещерной глубины» (послание Жуковскому, 1817 г.).¹ Кавказского пленника в летнюю жару скрывает «пещеры темная прохлада» (варианты поэмы). «Унылая красота», а также «печальная красота» (в 7-й строфе), — образцы замены конкретного абстрактным, лица олицетворением, чему есть ряд примеров у Пушкина, который часто «красотой» обозначает

¹ На этот стих обратил мое внимание Б. В. Томашевский.

красавицу: таковы «обманчивые красоты» («К Лицинию»), «стыдлива красота» («Гавриилиада»), «хладная красота» («Соловей»), «самолюбивая красота» и «воображенье красоты» («Полтава»).

С т р о ф а 3.

О, сколько слез печали,
И сколько слез восторгов и любви!

В «19 октября 1825 г.» дана подобная картина в весьма схожем выражении:

О, сколько слез, и сколько восклицаний,
И сколько чаш, подъятых к небесам!

«Край небес бледнеет» — «Край небес светлеет» («Евгений Онегин», 2, XXVIII). «Редее тень» — этот образ утра встречается у Пушкина не раз, например: «И тени легкие редели» («Месяц»), «редела тень» («Полтава»).

С т р о ф а 4. «Призывному Гальвина клику внимлет» — «Невнятен мне призывный клик» («Руслан и Людмила», VI).

С т р о ф а 5. Отправляясь на войну, юноши «прощальну длань подругам подают» — и так же, отправляясь на войну, «милым дали руку молодые ратники на грустную разлуку» («На возвращение государя императора из Парижа», 1815 г.). «Златой зари раскинулись покровы», — в «Письме к Лиде» (1817 г.) такой же образ:

Лишь благодатный мрак раскинет
Над нами тихий свой покров...

С т р о ф а 6. «Ласкающей рукой», т. е. ласковой, — «приник ласкающей главой» («19 октября 1825 г.»), «Спешу к мечам», а также «среди мечей» (в 8-й строфе) — обычное у Пушкина замещение действителя орудием, война его оружием: «бежали северных мечей» («Руслан и Людмила», I), «Азраил среди мечей красоту твою заметит» («Из Гафиза», 1829 г.).

С т р о ф а 7. «Лишь дева там, печальна и бледна». Пушкин часто придает своим героиням оба подобные

эпитета вместе. Эвлега «печальна и одна». «Русалка» (1819 г.) «сидит прелестна и бледна». Черкешенка в «Кавказском пленнике» «печальна и бледна». Другая черкешенка («Галуб») «молчит, уныла и бледна». Та, о которой мечтает поэт («Ненастный день потух...», 1823 г.), «сидит печальна и одна». В «Гавриилиаде» Мария «грешит, прелестна и томна». «Ладьи набега» — характерный образчик пушкинского умения выражаться кратко и экономить изобразительные средства; примеры — «язва чести» и «воин мести» («К принцу Оранскому»), «чаша спасенья» («Наездники»), «сабля мести» («Кавказский пленник»), «поле чести» («Послание к Юдину»), «знамена чести» («Наполеон на Эльбе»), «знамена бранной чести» («Война»), «свободы песня» («Кавказский пленник»), «цвет уединенья» («Руслан и Людмила»), «девы веселья» («Сцена из Фауста»), «дева красоты» («Евгений Онегин», 6, XXII), «счастье побед» («Полтава»), «дева неги и любви» (вариант в описании Одессы — см. «Северные Записки», 1913, апрель, 121) и т. п.

Строфа 8. «О милый друг! О, жизнь души моей!» — такое же обращение в «Руслане и Людмиле» (V):

С тобой, друг милый, друг прелестный,
С тобою, свет моей души!

«Бранный шум» повторен в «Войне» (1821 г.).

Строфа 9. «Надменное ветрило» — «ветрила гордых кораблей» («Земля и море», 1821 г.).

Строфа 10. «В отраде безмятежной» — в «Гавриилиаде» Мария «чашу пьет отрады безмятежной».

Строфа 11. «Но быстро дни восторгов пролетели» — почти дословно повторяется в «Осгаре» (1814 г.): «Но быстро дни любви и счастья пролетели». «Сыны побед» — в «19 октября 1825 г.» Пушкин называет Дельвига «сын лени» и Матюшкина — «волн и бурь любимое дитя», а шведов в «Полтаве» — «сыны любимые победы».

Строфа 12. «Наперсники судьбины» — одна из любимых метафор Пушкина. Поэт — «наперсник богов» («Дельвигу», 1817 г.), волшебник Финн — «судьбы

наперник» («Руслан и Людмила», I, женщины — «наперсницы любви» («Гавриилиада»), лира — «наперсница сердечных дум» поэта, корабль — «морей наперник»... «Кровавый меч героев не лежит у ног одной оставленной Гальвины» — тот же образ в «Руслане и Людмиле» (I):

К ногам красавицы надменной
Принес я меч окровавленный.

Строфа 13. Горе Гарала и его решение идти на войну — точное повторение ситуации Осгара, которому изменила Мальвина («Осгар»):

Поникнув головою,
Мальвины имя он в отчаяньи шептал...
От пиршеств удален, в пустыне молчаливой
Он одиночеством печаль свою питал.
И длинный год провел Осгар среди мучений.
Вдруг грянул трубный глас: Оденев сын, Фингал,
Вел грозных на мечи, в кровавый пыл сражений;
Осгар слышал весть и бранью воспылал.

Приведенных параллелей, думается мне, достаточно. Одна-две одинаковые или сходные черты не могли бы, конечно, служить точным доказательством авторства Пушкина, но их так много, что совокупность их служит решающим его подтверждением. Ученическая пьеса, наивная более впрочем по содержанию, чем по форме, в ряду ранних лицейских пьес должна занять место не из последних. Вся ее структура, ее язык, ее образы, ее эпитеты указывают на то, что она принадлежит началу XIX века. Ни у одного из тогдашних русских поэтов мы не найдем и десятой доли всех приведенных нами совпадений. Если это не Пушкин, то придется допустить, что одновременно с ним жил какой-то неизвестный поэт, равный юному Пушкину, и что этот второй Пушкин умел мастерски подражать первому. Слишком ясно, что пьеса, с которой мы стряхнули пыль забвения, написана той же рукою, которая написала «Кольну», «Эвлегу» и «Осгара» и написана, как справедливо предположил Гербель, в одно время с ними, может быть как упражнение для класса Кошанского.

Указание Гербеля на французскую форму пьесы подтверждено наблюдением Б. В. Томашевского, сообщенным при чтении мною доклада в Пушкинском Доме: форму строфы, размер и куплетное повторение половины последнего стиха поэт заимствовал, вероятно, у Мильвуа («Гаральд длинноволосый»). Характерно для Пушкина и фонетическое правописание имени героя: Гараль (французское произношение), а не Гаральд.

У Пушкина часто встречаются как бы переделки стихов, своего рода склады готовых образов, эпитетов. Данное стихотворение он впоследствии щедро использовал именно потому, что оно осталось ненапечатанным.

Прав был Плетнев, говоря,¹ что «Пушкин еще в детстве был поэт, не по одним ощущениям, но поэт представивший много счастливых опытов литературных. Рассматривая первые его произведения, удивляешься, как в то уже время он понимал и чувствовал поэзию». Перед нами один из опытов мальчика не старше пятнадцати лет, а может быть еще моложе. В пьесе еще чувствуется некоторая неловкость и робость.

Так юные орлы, с гнезда слетев родного,
Полета к солнцу вдруг не смеют испытать...²

II

„ТЕНЬ БАРКОВА“

Пушкин созрел очень рано, и об его детстве и первых его поэтических опытах сохранилось мало достоверных сведений. В лицее он является перед нами уже настоящим писателем, но первые годы его литературной юности окутаны каким-то туманом. В. П. Гаевский, статья которого «Пушкин в лицее и лицейские его стихотворения»³ навсегда останется самым крупным собранием сведений об этом периоде жизни поэта, сообщает ряд интересных фактов. Сообщения Гаев-

¹ «Современник» т. XXIX, 1843 г., № 1, стр. 121.

² Н. И. Гнедич («К П. А. Плетневу»).

³ «Современник» 1863 г., т. XCVII, отд. I.

ского тем ценнее, что этот точный, осторожный работник пользовался показаниями нескольких товарищей Пушкина. Ссылаясь именно на них, Гаевский¹ передает некоторые драгоценные подробности о раннем лицейском творчестве Пушкина.

«По рассказам товарищей его, он в первые два года лицейской жизни написал роман в прозе «Цыган» и, вместе с М. Л. Яковлевым, комедию «Так водится в свете», предназначавшуюся для домашнего театра. После этих опытов он начал комедию в стихах «Философ», о которой упоминает в своих записках, но, сочинив только два действия, охладел к своему труду и уничтожил написанное. В то же время он сочинил, в подражание Баркову, поэму «Монах». . . Увлеченный успехом талантливого и остроумного произведения дяди, В. Л. Пушкина, «Опасный сосед», которое ходило тогда в рукописи и с жадностью читалось и перечитывалось, племянник пустился в тот же род и, кроме упомянутой поэмы, написал «Тень Баркова», балладу, известную по нескольким спискам. Последнюю он выдавал сначала за сочинение князя Вяземского, но, увидев, что она пользуется большим успехом, признался, что написал ее сам. . . Все эти пять произведений, по отзывам товарищей поэта, сочинены в 1812, 1813 и не позже 1814 года».

Недавно, как известно, обнаружен «Монах». О «Цыгане» и комедии «Так водится в свете» ничего неизвестно. Комедия в стихах «Философ», на которую поэт возлагал большие надежды, думая ею «открыть свое поприще по выходе из лицея», вероятно не была окончена; от нее ничего не дошло до нас. Писалась она позднее эпохи, указываемой Гаевским, — в конце 1815 и начале 1816 гг., как видно из записок самого Пушкина и письма его товарища А. Д. Илличевского.

В некоторой связи с «Монахом» стоит шуточная баллада «Тень Баркова». Она настолько непристойна и по сюжету, и по беззастенчивому словарю, что далеко не все стихи ее могут быть воспроизведены в печати. Несколько выдержек из нее привел Гаевский в своей

¹ «Современник» 1863 г., т. ХСVII, отд. I, стр. 155 — 157.

статье, известной в наши дни лишь специалистам, в сочинения же Пушкина после издания Г. Н. Геннади,¹ давно забытого, даже эти отрывки не были включены. Виноват в этом был П. А. Ефремов, три раза редактировавший издания сочинений Пушкина (1880, 1882 и 1903 — 5 гг.) и сбивший с толку других издателей и исследователей.

В оглавлении к I тому его издания 1880 г. (стр. 576) значится: «Тень Баркова. Отрывки из баллады», но они не помещены, и даже страницы, на которых она должна была находиться (56 — 57), исключены из нумерации, так как «оказалось, что эта баллада Пушкину не принадлежит». Много лет спустя, в статье «Мнимый Пушкин в стихах, прозе и изображениях»,² Ефремов объяснил, почему из первого своего издания «выбросил отрывки из поэмы «Тень Баркова», которые взял было из статьи Гаевского в «Современнике», обставившего его (?) такими подробностями о времени написания, чтении лицеистам и т. п., что не было сомнения, что это написал Пушкин. Найдя полную поэму в рукописной тетради, я увидел, что в ней дело идет не о Петербурге, а о Москве, и с такими подробностями, которых Пушкин не мог о ней знать, вывезенный из нее еще почти ребенком. Не скажу теперь, что это стихотворение принадлежит Полежаеву, как я сказал тогда, исключая из своего издания эти стихи». . . Вскоре Ефремов дал более подробное объяснение:³ «Гаевский указал, что Пушкин, написав эти стихи, выдавал их сначала за сочинение кн. Вяземского и из приличия называл в лицее эту балладу: «Тень Кораблева»⁴ и т. д., но, увидев успех, признался, что написал ее сам. На этом основании я взял было эти отрывки в Исаковское издание сочинений Пушкина, но цензор Ратынский во время указал мне, что стихи эти московского происхождения, хотя неправильно приписал их Полежаеву. Они были мною исключены из издания, а потом, в Москве, мне попалась целая тетрадь подобных произведений одного

¹ 1870 г., т. I, примеч., стр. VII — IX.

² «Новое время» 1903 г., № 9845.

³ Соч. Пушкина, изд. А. С. Суворина, т. VIII, 1905 г., стр. 18.

⁴ Этой подробности у Гаевского нет.

москвича, состоявшая из переделок на такой же лад баллад и поэм Жуковского, как эта «Тень Баркова» («Громобой»), «Съезжинская узница» («Шильонский узник») и пр. Эту тетрадь я отдал В. П. Гаевскому, а он и сам уже встретил меня отказом от своего прежнего предположения. Кто же однако наговорил ему таких подробностей, которые были приведены при напечатании им отрывков «Тени Баркова»? — прибавил Ефремов, явно чувствуя всю шаткость своих доводов. Вернее — у этого грубоватого, мелочно-самолюбивого, научно-невоспитанного редактора, не любившего признаваться в своих ошибках и даже не всегда правдивого, был лишь один довод, да и тот не был ясен ему самому. Из трех приведенных показаний его отбросим первое, как лишенное какой бы то ни было мотивировки. Что касается до двух остальных, то в них заключается лишь один довод, да и тот излагается различно: в одном случае речь идет о московских подробностях, в другом — о московском происхождении баллады. Между тем в ней есть лишь одно указание на место действия, которое категорически приурочено к Петербургу. Дело происходит в публичном доме на Мещанской. Эта улица приневской столицы более ста лет была, как выразился Гоголь («Невский проспект»), «улицей чухонских нимф» и средоточием публичных домов. В «Моей родословной» Пушкин смеется над Булгариным:

Решил Фиглярин вдохновенный:
 Я во дворянстве мещанин.
 Что ж он в семье своей почтенной?
 Он?.. Он в Мещанской дворянин.

Приведем выдержки из баллады, пользуясь для этого как статьей Гаевского, так и одним (к сожалению, неполным) списком, находящимся в Пушкинском доме (сборник «Стихотворения», 1832 г., из собрания Б. Л. Модзалевского, стр. 206 — 208).

Однажды зимним вечерком
 В бордели на Мещанской
 Сошлись с расстригою-попом
 Поэт, корнет уланской,

Московский модный молодец,
 Подъячий из сената,
 Да третьей гильдии купец,
 Да пьяных два солдата.
 Всяк пуншу осушил бокал...

.

«Всех задорнее» повел себя на поприще служения
 «Афродите Всенародной» отставной представитель
 духовенства, и поэт славит его:

Хвала тебе, расстрига-поп,
 Приапа жрец ретивый!

Но не таков оказался главный герой баллады, поэт.

..... лишился сил.
 Как воин в тлжкой брани,
 Он пал, главу свою склонил
 И плачет в нежны длани.
 Так иногда поэт Хвостов,
 Обиженный природой,
 Во тьме полуночных часов
 Корпит над холодной одой.
 Пред ним несчастное дитя:
 И вкривь, и вкось, и прямо
 Он слово звучное, кряхтя,
 Толкает в стих упрямой.

На помощь герою приходит покойник Барков, ко-
 торый доставляет ему торжество и посрамляет попа.

Явилась тень, идет к нему
 Дрожащими стопами,
 Сияя сквозь ночную тьму
 Огнистыми очами.
 — «Что сделалось с детиною тут?»
 Вещало приведенье...

.
 И страхом пораженный поп
 Не мог сказать ни слова, —
 Свалился на пол, будто сноп,
 К портищам он Баркова.

.
 — «Ты видишь, — продолжал Барков, —
 Я вмиг тебя избавил,
 Но слушай: изо всех певцов
 Никто меня не славил.
 Никто! так !
 Хвалы мне их не нужны.

Лишь от тебя услуги жду, —
 Пиши в часы досужны!
 Возьми задорный мой гудок,
 Играй как ни попало!
 Вот звонки струны, вот смычок, —
 Ума в тебе немало.
 Не пой лишь так, как пел Бобров,
 Ни Шелехова тоном.
 Шихматов, Палицын, Хвостов
 Прокляты Аполлоном.
 И что за нужда подражать
 Бессмысленным поэтам?
 Последуй ты,
 Моим благим советам.
 И будешь из певцов певец,
 Клянусь моей !
 Ни чорт, ни девка, ни чернец
 Не вздремлют над тобою!»
 — Барков! доволен будешь мной! —
 Провозгласил детина.
 И вмиг исчез призрак ночной,
 И мягкая перина
 Под милой.
 Не раз потом измялась

Впоследствии, когда герой баллады попал в другую беду, перед ним снова

Баркова призрак вдруг предстал,

освободил из-под стражи и сказал на прощанье:

«Поди!» (отверзта дверь была).
 «Тебе не помешают.
 Но знай, что добрые дела
 По-царски награждают:
 Усердно ты воспел меня,
 И вот за то награда!»
 Сказал, исчез, — и здесь, друзья,
 Кончается баллада.

Ефремов опрометчиво отверг авторство Пушкина, а из других пушкинистов ни один ни разу не остановился на вопросе о принадлежности Пушкину баллады, который ныне выдвигается ее несомненной связью с «Монахом» и категорически решается положительно. Не только сообщение Гаевского не вызывает никаких сомнений, но в пользу авторства Пушкина говорят и

сами стихи, которых нет никакой возможности приписать кому-либо другому из тогдашних лицейских поэтов. Ни у Дельвига, ни у Илличевского (не стоит говорить о Кюхельбекере) мы не найдем стихов такой силы, энергии и зрелости. Пушкин быстро шел вперед и всех обогнал. Его товарищи могли лишь удивляться ему. Дельвиг уже в 1815 г. писал о нем, выражая мнение всего лицея:

Пушкин! Он и в лесах не укроется,
Лира выдаст его громким пением,
И от смертных восхитит бессмертного
Аполлон на Олимп торжествующий...

А о том, недолгом впрочем, настрое его лиры, который сказан в «Монахе» и «Тени Баркова», говорится в одной из лицейских «национальных песен», где дана характеристика чуть ли не всех товарищей:

А наш француз
Свой хвалит вкус
И мать порет.

В этом замечании приведено то самое крепкое русское словцо, которое вклеила тень Баркова в свой совет не подражать бездарным поэтам. Этот же, как выразился поэт, «русский титул» он впоследствии вставил в свою «Телегу жизни»:

С утра садимся мы в телегу,
Мы рады голову сломать
И, презирая лень и негу,
Кричим: валяй,

На разнузданность своего языка Пушкин сам два раза намекает в своих письмах, упоминая о слуге Никиты Всеволожского, Калмыке, который на дружеских пирушках при каждом нескромном слове собеседников провозглашал: «здравия желаю!» («Желай мне здравия, Калмык!»).

Некоторая приверженность к подобным вольностям замечалась в Пушкине и впоследствии. Один польский мемуарист вспоминал, что в речи Пушкина «часто мель-

кали грубые выражения». Однажды (1829 г.) Пушкин завтракал у М. П. Погодина вместе с Мицкевичем, С. Т. Аксаковым, Хомяковым, Щепкиным и друг., и Аксаков с ужасом писал потом, что Пушкин «держал себя ужасно, гадко, отвратительно». Мицкевич два раза вынужден был сказать собеседникам: «господа, порядочные люди и наедине, и сами с собою не говорят о таких вещах».

Что баллада написана не позднее 1814 г., вполне подтверждается связью ее с другими стихами этого года. Гаевский правильно указал, что она «представляет местами пародию на балладу «Громобой» Жуковского». Бытовым же реализмом своим она роднится с «Опасным соседом» Василия Львовича Пушкина. Действие «Опасного соседа» также происходит в публичном доме, где собралась такая же разношерстная публика, — гуляка и мот Буянов, которого Пушкин охотно признавал своим «двоюродным братом», автор, купец, дьячок. В сатиру В. Л. Пушкина также вкраплены насмешки над писателями «славянского» направления — Шишковым и Шихматовым, а также над Шаховским. Над этой «тройкой злой» поэт-племянник еще несколько лет насмеялся, давно перестав смеяться над С. С. Бобровым. О Шелехове же и Палицыне он больше не упомянул ни разу, так как вскоре понял, что о них и говорить не стоит в виду незначительности их удельного веса, к тому же они быстро вышли из рядов действующей литературной армии: и А. А. Палицына, и И. И. Шелехова (издававшего в 1810 г. дрянной «Журнал для сердца и ума») уже во втором десятилетии XIX века читатели стали забывать. О Палицыне Пушкин упомянул едва ли не потому лишь, что над ним мимоходом посмеялся недавно Батюшков в своей сатире «Певец в беседе славянороссов» (1813 г.). В послании «К другу стихотворцу» (1814 г.) Пушкин осмеивает «творенья громкие Рифматова, Графова» (Шихматова, гр. Хвостова), которые с «тяжелым Бибрусом (Бобровым) гниют у Глазунова», а три года спустя, в «арзамасском» послании к Жуковскому, повторяя насмешки над противной литературной партией, называет их «отверженными Феба» и тут же говорит о Сумарокове:

«проклятый Расином», что напоминает «проклятых Аполлоном» в балладе о Баркове. Пуще всех в последней досталось от Пушкина графу Хвостову, этой неизменной жертве литературных насмешников в течение многих лет. В послании «Моему Аристарху» (1815 г.) он изобразил Хвостова, который пишет свой вздор по ночам и «кряхтя».

Но уже в 1814 г. юный поэт отрекается от Баркова, своего недавнего учителя. В «Городке» он, рассказывая о своем «круге чтения», бегло излагает содержание спрятанной у него «на самой нижней полке», за книгами разных бездарных авторов, заветной «потаенной тетради», доставшейся ему от «двоюродного брата, драгунского солдата»: в ней собраны «сочиненья, презревшие печать», — сатиры кн. Д. П. Горчакова, «Видение на берегах Леты» Батюшкова, комедия Крылова «Трумф», дядюшкин «Опасный сосед»...

Но назову ль детину
Что доброю порой
Тетради половину
Наполнил лишь собой?..

На этот раз поэт не осмеливается славить Баркова, о котором подобает говорить его же слогом:

Но убирайся с богом!
Как ты, в том клясться рад,
Не стану я писать.

Одному пронизательному критику плохая эта рифма подсказала резонную догадку, что неуклюжее «в том клясться рад» — явная вставка, и что здесь первоначально красовался тот же «русский титул». Больше Пушкин Баркова не величал, и несомненно, что «Тень Баркова» написана раньше «Городка». Между обоими этими произведениями заметно сходство не только в литературных оценках, но и в общественных взглядах: Пушкин в «Городке» бранит «иереев, а с ними крючкотватый подъяческий народ», а в «Тени Баркова» выводит попа и сенатского подъячего; для музыки Баркова и преемника его заветов самая подходящая публика — «чорт, девка и чернец». К рано намеченному образу

веселого российского клирика близко подходят изображенные в «Борисе Годунове» беспутные бродягичернецы Мисаил и Варлаам.

Впрочем и впоследствии Пушкин не забыл Баркова, совершенно неисключимого из числа учителей великого поэта. В цитированном выше послании (1817 г.) к Жуковскому он бранит надутого, холодного Сумарокова: в этом он следует Баркову, который язвительно пересмеивал «русского Вольтера». В «Первом послании цензору» он сравнил судьбу некоторых своих произведений с судьбой стихов Баркова:

Барков шутовых од к тебе не посылал...
И Пушкина стихи в печати не бывали.
Что нужды? их и так иные прочитали...

В 30-х годах он записал два забавные анекдота о проделках Баркова с Сумароковым и трунил над юным сыном своего друга Вяземского: «вы не знаете стихов Баркова и собираетесь вступить в университет! Это курьезно! Барков — это одно из знаменитейших лиц в русской литературе... Для меня сомнения нет, что первые книги, которые выйдут в России без цензуры, будут полное собрание стихотворений Баркова».

В «Тени Баркова» Пушкин отнюдь не «auctor purissimae impuritatis», как выразился Юст Липсий о Петронии, не говорит «чистейшим языком о нечистых вещах», но это у него идет не от склонности натуры и не от неумения. Баллада нарочито исполнена в стиле Баркова, и конечно — «Барковским должно слогом Баркова воспевать»... На отношения Пушкина к Баркову нужно смотреть не с моральной, а с литературно-формальной стороны. Задачу свою мальчик-поэт, на рубеже 14 — 15 лет, исполнил с бесподобным успехом. Так был широк диапазон пушкинского мастерства: от Баркова до Данте!

„МИЛАЯ БАКУНИНА“

Итак я счастлив был, итак я наслаждался,
Отрадой тихою, восторгом упивался...
И где веселья быстрый день?
Промчался летом сновиденья,
Увяла прелесть наслажденья,
И снова вокруг меня угрюмой скуки тень!..

Я счастлив был!.. Нет, я вчера не был счастлив, поутру я мучился ожиданьем, с неописанным волнением стоя под окошком, смотрел на снежную дорогу — ее не видно было! — наконец я потерял надежду, вдруг нечаянно встречаюсь с нею на лестнице, сладкая минута!..

Он пел любовь, — но был печален глас,
Увы, он знал любви одну лишь муку!

Жуковский.

Как она мила была! Как черное платье пристало к милой Бакуниной!

Но я не видел ее 18 часов — ах!

Какое положение, какая мука! — Но я был счастлив пять минут».

Эти строки записаны в дневнике Пушкина под 29 ноября 1815 года.

Ему шел тогда семнадцатый год. Он был в той критической поре, на рубеже между отрочеством и юностью, о которой впоследствии, в «Онегине», вспоминал с таким умилением:

Когда в забвеньи перед классом
Порой терял я взор и слух,
И говорить старался басом,
И стриг над губой первый пух, —

В те дни... в те дни, когда впервые
 Заметил я черты живые
 Прелестной девы, и любовь
 Младую взволновала кровь,
 И я, тоскуя безнадежно,
 Томясь обманом пылких снов,
 Везде искал ее следов,
 Об ней задумывался нежно,
 Весь день минутной встречи ждал
 И счастье тайных мук узнал...

Два одноклассника поэта сохранили для нас воспоминания об этой любви. «Первую, — рассказывает С. Д. Комовский¹ — платоническую, истинно-поэтическую любовь возбудила в Пушкине сестра одного из лицейских товарищей его, фрейлина Екатерина Павловна Бакунина. Она часто навещала брата своего и всегда приезжала на лицейские балы. Прелестное лицо ее, дивный стан и очаровательное обращение произвели всеобщий восторг во всей лицейской молодежи. Пушкин с чувством пламенного юноши описал ее прелести в стихотворении своем «К живописцу», которое очень удачно положено было на ноты и постоянно пето до самого выхода из заведения». И. И. Пущин² кратко сообщает, что «сердечко» Пушкина «страдало» по Бакуниной, — и оно было не единственное в юной лицейской семье... Неравнодушен к Бакуниной был и сам Пущин. В относящейся к началу 1816 г. аттестации воспитанников, составленной директором лицея Е. А. Энгельгардтом, содержится довольно комическая подробность романа, который переживал друг-соперник Пушкина. Едва ли к кому-нибудь из мальчиков-вздыхателей была серьезно благосклонна красавица-фрейлина, но Пущину особенно не везло в любви, несмотря на проявленную им предприимчивость. «Несчастливые обстоятельства — говорит руководитель лицея — произвели на Пущина вредное влияние. Он с некоторого времени особенно старается заинтересовать собою особ другого пола, пишет самые отчаянные письма и, жалуясь на судьбу, представляет себя лицом трагическим. Одно

¹ Я. К. Грот, «Пушкин и его лицейские товарищи и наставники», изд. 2-ое, СПб., 1899, стр. 220.

² Л. Майков, «Пушкин», СПб., 1899, стр. 62.

из таких писем попало в мои руки, и я по обязанности должен был внушить молодому человеку неуместность такого поступка в его положении. Дружеский совет, казалось, произвел желанное действие, но повторение подобного же случая доказало противное»...¹

«У Пушкина — замечает один из первых биографов поэта, В. П. Гаевский,² — эта страсть находила исход в поэзии»... Действительно увлечением Бакуниной вдохновлен целый ряд юношеских стихотворений Пушкина. Одно из них прямо связано с именем Бакуниной. Это — романс «К живописцу», положенный на музыку другим лицеистом, Н. А. Корсаковым, талантливым композитором и музыкантом. Пушкин предлагает живописцу (это был А. Д. Илличевский, тоже лицейский товарищ и тоже равнодушный к Бакуниной) «небрежной кистью наслажденья» изобразить

Красу невинности прелестной,
Надежды милые черты,
Улыбку радости небесной
И взоры самой красоты...

Друзья поднесли свое произведение Е. П. Бакуниной. До нас дошли и ноты с текстом;³ на первой странице написано: «Romance avec accompagnement du piano, dédiée à mademoiselle de Bacoupine», а ниже — шуточная приписка карандашом: «Трудами Императорской Царско-Сельской Лицеи» (sic!). Влюбленных в Бакунину среди лицеистов было немало. Одновременно с Пушкиным тою же страстью пылали и Пущин, и Малиновский; в 1825 г. Пушкин напомнил обоим друзьям:

Как мы одну все трое полюбили,
Наперсники, товарищи проказ...

Цикл пьес, внушенных молодому Пушкину любовью

¹ В. П. Гаевский, Пушкин в Лицее и лицейские его стихотворения» («Современник» 1863 г., т. ХСVII, отд. I, стр. 380).

² Там же.

³ Когда-то я описал это подношение («Русс. Стар.» 1913, ноябрь, 258 — 259). Текст романса — ранняя редакция, в которой впрочем отсутствует один куплет, принесенный может быть в жертву стыдливости («Прозрачны волны покрывала накинь на трепетную грудь»...).

к Бакуниной, довольно велик. П. В. Анненков указывает десять стихотворений 1816 года, «порожденных чувством юношеской привязанности, появившейся у него несколько ранее этой эпохи». В. П. Гаевский¹ и еще более В. Я. Брюсов² значительно, до излишества, расширяют данный цикл.³ Во всяком случае среди произведений 1816 года несколько стихотворений несомненно связаны между собою единством грустных раздумий и непрерывающегося элегического настроения. «Романа», конечно, никакого здесь не было; томилась и изнывала лишь одна сторона... Пушкин жалуется на «горести несчастливой любви», но и в них находит наслаждение: «мне дорого любви моей мученье, пускай умру, но пусть умру — любя»... «Увял надежды ранний цвет, цвет жизни сохнет от мучений»... Разлука усилила печаль. Семейство Бакуниных, проведя в Царском Селе все лето 1816 г., переехало в Петербург. Лицейский товарищ Пушкина, А. А. Дельвиг, писал 6 октября своей тетке: «Сад сетует, не видя прелестных петербургских дам, которые целое лето жили в Царском Селе, и срывает с себя зеленую одежду. Мы ходим под шумом опустошенных деревьев и забавляем себя прошедшим и будущим. Так мы по несколько часов слушали громкую музыку гусарского полка; теперь всё молчит и отвечает грустными и пустынными видами нашему унылому сердцу».⁴ Но Пушкин, конечно, сильнее всех почувствовал горечь разлуки.

¹ Гаевский, *ор. с.*, 380 — 385.

² Сочин. Пушкина, изд. Брокгауз-Ефрона, I, 285 — 288.

³ К. Е. П. Бакуниной много лет различные издатели сочинений Пушкина, начиная с Н. В. Гербеля (берлинский томик 1861 г., стр. 165), относили мадригал «К А. Б.» («Что можем наскоро стихами молвить ей?»...) М. Л. Гофман («Пушкин. Первая глава науки о Пушкине», СПб., 1922, стр. 86 — 87; 2-ое изд., стр. 88 — 89) заявил, что подлинное заглавие впервые восстановлено им, Гофманом, в изданных им «Стихотворениях А. Пушкина», Чернигов 1919. Тогда В. Я. Брюсов возразил («По поводу одной критики» — «Печать и Революция» 1922 г., № 2 (5), стр. 156 — 157), что восстановил заглавие он, Брюсов, в своем издании сочинений Пушкина (т. I, ч. I, М., 1919). Между тем истина установлена за двенадцать лет до обоих спорщиков (в Соч. П., изд. Брокгауз-Ефрона, т. I, 1907 г., стр. 431, 448, 450).

⁴ Гаевский, *ор. с.*, 383.

Уж нет ее... Я был у берегов,
 Где милая ходила в вечер ясных.
 На берегу, на зелени лугов.
 Я не нашел чуть видимых следов,
 Оставленных ногой ее прекрасной.
 Задумчиво бродя в глуши лесов,
 Произносил я имя несравненной,
 Я звал ее, — и глас уединенной
 Пустых долин позвал ее в дали.
 К ручью пришел, мечтами привлеченный,
 Его струи медлительно текли:
 Не трепетал в них образ незабвенной.
 Уж нет ее!.. До сладостной весны
 Простился я с блаженством и с душою...

Для юноши «мир настоящий опустел», и остался
 «мир одной мечте послушный». Он говорил себе: «забудем-
 ся, в мечтах потонет мука», — но

Как мало я любовь и сердце знал!
 Часы идут, за ними дни проходят,
 Но горестям отраду не приводят
 И не несут забвения фиал.
 О милая, повсюду ты со мною!
 Но я уныл, и втайне я грущу.
 Блеснет ли день за синею горою,
 Взойдет ли ночь с осеннею луною, —
 Я все тебя, прелестный друг, ищу.
 Засну ли я, — лишь о тебе мечтаю,
 Одну тебя в неверном вижу сне;
 Задумаюсь, — невольно призываю;
 Заслушаюсь, — твой голос слышен мне...

Поэт доходит до отчаяния:

Под сумрачным навесом облаков,
 В глуши долин, в печальной тьме лесов,
 Один, один брожу, уныл и мрачен.
 В вечерний час, над озером седым,
 В тоске, слезах нередко я стенаю,
 Но ропот волн стенаниям мойи
 И шум дубрав в ответ лишь я внимаю...

 Все кончилось, одну печаль я вижу.
 Мне страшен мир, мне скучен дневный свет.
 Пойду в леса, в которых жизни нет,
 Где мертвый мрак: я радость ненавижу.
 Во тьме застыл ее минутный след.
 Опали вы, листы вчерашней розы,
 Не доцвели до месячных лучей!
 Умчались вы, дни радости моей!..

Пробудилась и ревность. «Она» там — в столице, при дворе. Может быть полюбила кого-нибудь и уж никогда не подарит поэта даже холодным, мимолетным вниманием. Пушкина терзает мысль о неизвестном счастливце, и он сравнивает себя с ним.

Пушкой она прославится другим;
Один люблю, — он любит и любим!..
Люблю, люблю!.. Но к ней уж не коснется
Страдальца глас; она не улыбнется
Его стихам, небрежным и простым.
К чему мне петь?..

Приходила мысль о смерти:

Прости, печальный мир, где темная стезя
Над бездной для меня лежала,
Где жизнь меня не утешала,
Где я любил, где мне любить нельзя!.

Но всеисцеляющее время взяло свое. В следующем году, оставляя лицей, Пушкин писал на память Пущину:

Ты вспомни быстрые минуты первых дней,
Неволю мирную, шесть лет соединенья,
Печали, радости, мечты души твоей,
Размолвки дружества и сладость примиренья,
Что было и не будет вновь...
И с тихими тоски слезами
Ты вспомни первую любовь.
Мой друг! она прошла...

Остались только воспоминания о днях

Любви, надежд и грусти нежной,
Когда, поэзии поклонник безмятежный,
На лире счастливой я тихо воспевал
Волнение любви, уныние разлуки, —
И гул дубрав горам передавал
Мои задумчивые звуки...

Однажды Пушкин поднес Екатерине Павловне мадригал, — это было в самый день ее именин, — четко написанное рукою поэта и подписанное инициалами

А. П., на небольшом листке желтоватой бумаги альбомного формата, четверостишие:

Напрасно воспевать мне ваши именины
 При всем усердии послушности моей.
 Вы не милее в день святой Екатерины
 За тем, что никогда нельзя быть вас милей.

Мадригал следует датировать, вероятно, 24 ноября (днем св. Екатерины) 1815 г., когда Бакунина была в Царском Селе; пятью днями позднее Пушкин внес в свой дневник цитированные выше строки о «милой Бакуниной». Этот листок¹ многие годы хранился у детей и внуков Екатерины Павловны вместе с другим автографом поэта, — записью первых десяти стихов пьесы князя П. А. Вяземского «Прощание с халатом» (1817 г.), которую Пушкин начал переписывать для Бакуниной и не окончил.²

Екатерина Павловна Бакунина³ родилась 9 февраля 1795 г. в богатой и родовитой семье. Ее отец, Павел Петрович (24 мая 1766 г. — 24 декабря 1805 г.), действительный камергер, служил по дипломатическому ведомству. Ее мать, Екатерина Александровна, была рожденная Саблукова⁴ (12 сентября 1777 г. — 7 октября 1846 г.), дочь сенатора Александра Александровича Саблукова (женатого на Екатерине Андреевне Волковой), бывшего при Екатерине II и Павле I вице-президентом мануфактур-коллегии, а при Александре I членом Государственного Совета; автор известных записок о временах Павла I и Александра I, генерал Н. А.

¹ Воспроизведение помещено в «Ниве» 1913 г., № 43.

² Оценить эту любезность Пушкина можно при свете его собственного показания в одном письме к Вяземскому (в апреле 1825 г.), для которого он тогда переписывал вторую главу «Онегина»: — «будь мне благодарен, отроду ни для кого ничего не переписывал, даже для Голицыной; из сего следует, что я в тебя влюблен». . . (Однако он переписал для Голицыной свою оду «Вольность», как заметил Б. Л. Модзалевский — «Пушкин. Письма», т. I, Гос. Изд., Лг., 1926, стр. 429).

³ Некоторые сведения о ней сообщил мне Н. И. Левашов, ее внук, и Н. Н. Климовский.

⁴ Е. А. Саблукова не была чужда литературе, в 1791 г. был напечатан ее перевод с французского «Упражнение Аделаиды», посвященный ею тетке, кн. А. А. Урусовой.

Саблуков — его сын. Семья Бакуниных была близка ко двору, и Екатерина Павловна была одною из самых любимых фрейлин императрицы Елизаветы Алексеевны. Красивая, изящная девушка производила чарующее впечатление;¹ к тому же она была талантлива. А. П. Брюллов, ее учитель живописи, высоко ценил ее дарование.² У великого князя Николая Михайловича был прекрасный альбом акварельных портретов ее работы, изображающих целый ряд представителей петербургского светского общества 30 — 40 гг. 30 апреля 1834 г., уже немолодой девушкой, Екатерина Павловна вышла за отставного гвардии капитана и помещика Александра Александровича Полторацкого (7 мая 1792 г. — 13 марта 1855 г.). Муж ее тоже не был молод. «Она так счастлива, что плачет от радости», писала по поводу ее предстоящей свадьбы фрейлина А. С. Шереметева.³ С Полторацким она, по выражению графа М. А. Корфа, «похоронила себя где-то в деревне.⁴ Этот брак лишил ее фрейлинской пенсии в 3 900 руб. ассигнациями, но, по отзывам близких, дал ей счастье. Она подтверждает это в своем духовном завещании, в котором просит детей не забывать «как жили их отец и мать счастливо, храня между собою всегдашнее согласие».

Умерла Екатерина Павловна 7 декабря 1869 г. и погребена в Петербурге, в Новодевичьем монастыре, рядом с мужем.

С Пушкиным Екатерина Павловна не могла не встре-

¹ Вероятно она — та «красивая фрейлина Бакунина», которая в зимний сезон 1815 — 1816 гг. отличалась в мазурке на придворных балах, где рядом с нею блистали Аглая Давыдова, рожд. Граммон, и Екат. Ник. Раевская (впоследствии Орлова), обе оставившие некоторый след в жизни Пушкина (M-me Narichkine, «Le comte Rostopchine et son temps», SPb., 1912, p. 258).

² О нем достаточно свидетельствует ее автопортрет, воспроизведенный в «Ниве» (1913 г., № 43). Он относится к гораздо более раннему времени, чем тот, который был помещен в Альбоме Московской Пушкинской выставки 1899 г. и в I т. венгерского издания сочинений Пушкина. См. также В. Дударева, «Истомино» («Столица и Усадьба» 1916 г., № 68, стр. 6).

³ «Архив села Михайловского», т. II, вып. 1, СПб., 1902 г., стр. 38. Об их свадьбе упоминается также в переписке бр. К. Я. и А. Я. Булгаковых («Русс. Арх.» 1904 г., I, 418).

⁴ «Пушкин и его современники», VIII, 26.

чаться в 20 — 30 годах, но об этих встречах мы ничего не знаем. Конечно, Пушкин не забыл о своей юношеской любви. «Первая любовь» — писал он в 1830 г. — «всегда дело чувства: чем она была глупее, тем больше после нее остается сладостных воспоминаний»... В «Катерине I» полушуточного, полусерьезного «Дон-Жуанского списка» Пушкина можно узнать Е. П. Бакунину.

„ОЛЬГА, КРЕСТНИЦА КИПРИДЫ“

Она была бы давно забыта, но преданье, носящее впрочем все признаки исторической достоверности, связало ее имя с именем Пушкина. Начиная с анненковского издания (т. VII, 1857 г.), во всех собраниях произведений Пушкина печатаются эти стихи:

Ольга, крестница Киприды,
Ольга, чудо красоты,
Как же ласки и обиды
Расточать привыкла ты!
Поцелуем сладострастья —
Соблазнительного счастья
Назначаешь тайный час.
Мы с горячкою любовной
Прибегаем в час условной,
В дверь стучим, — но в сотый раз
Слышим твой коварный шопот,
И служанки сонный ропот,
И насмешливый отказ.
 Ради резвого разврата,
Приапических затей,
Ради неги, ради злата,
Ради прелести твоей, —
Ольга, жрица наслажденья,
Внемли наш влюбленный плач:
День восторгов, день забвенья
Нам наверное назначь.

Анненков озаглавил пьесу: «Ольга», а П. А. Ефремов в своем первом издании сочинений Пушкина (1880 г.): «Оленьке Масон», причем указал, что она «под этим заглавием постоянно встречается в рукописях». Такова была, значит, прочная традиция. Анненков,¹ характе-

¹ «А. С. Пушкин в Александровскую эпоху», СПб., 1874, стр. 64.

ризуя жизнь Пушкина в среде «аристократов разгула», в которую вступил поэт сойдя с лицейской скамьи, говорит: «подвиги их держались долго в памяти людей и пересказывались с упоением в провинциях; Пушкин отдаривал своих руководителей стихами и посланиями, наравне с модными тогда прелестницами — Штейнгель, Ольга Масон (см. пьесы «Выздоровление», «Ольга, крестница Киприды»)». . . Сохранившийся автограф поэта не дает оснований для точной датировки стихотворения, но Анненков отнес его к 1820 г. Эту дату и, во всяком случае, никак не позднейшую приходится принять как по внутренним мотивам пьесы и приемам письма, роднящим ее с другими произведениями этой эпохи, так и потому, что в распоряжении такого авторитетного исследователя-биографа, как Анненков, могли находиться вполне точные данные.¹ Среди набросков этого периода у Пушкина, как я однажды указал,² есть один, относящийся приблизительно к 1818 г., неотделанный, весь зачеркнутый и напоминающий стихи к Оленьке: «Ты не внемлешь. . . В час восторгов, упоенья. . . и забвенья». . .

Анненков приводит имена Штейнгель и Оленьки Масон; друг поэта И. И. Пущин в своих воспоминаниях о нем рассказывает о какой-то Анжелике, «прелесть-польке», а в стихах Пушкина мелькают еще другие имена, может быть условные, а может быть и реальные, — Лиды, Фанни, Наденьки. . . Все это — «прелестницы», «ветренные Лаисы», «младые монашенки Цитеры». Кружась в вихре удовольствий, юноша-поэт чувствовал себя легче в полусвете, чем в большом свете, где дамы, как иронически замечено в «Евгении Онегине»

так непорочны,
Так величавы, так умны,
Так благочестия полны,
Так осмотрительны, так точны,
Так неприступны для мужчин,
Что вид уж их рождает сплин. . .

¹ Попытки академич. издания сочинений Пушкина (т. II, примеч., стр. 369; т. IV, примеч., 321 — 322) отнести пьесу к более позднему времени (1826 г.) не могут быть признаны удачными.

² В примеч. к этой пьесе в «Сочин. Пушкина», изд. Брокгауз-Ефрона, т. II, стр. 547 — 548.

Ему вообще была, говорит он в послании к лицейскому товарищу кн. А. М. Горчакову, «во сто крат милее младых повес счастливая семья,

Чем вялое, бездушное собрание,
Где ум хранит невольное молчанье,
Где холодом сердца поражены,
Где глупостью единой все равны...»

Вот как рисует он большой свет в послании к Никите Всеволожскому:

Увидишь важное безделье,
Жеманство в тонких кружевах,
И глупость в золотых очках,
И тучной знатности похмелье,
И скуку с картами в руках.
Всего минутный наблюдатель,
Ты посмеешься под рукой... .

То ли дело — «золотая молодежь» и те

красотки молодые,
Которых позднею порой
Уносят дрожки удалые
По петербургской мостовой!..

В этом кругу он во всю наслаждался своей молодостью, свободой и — нечего греха таить, да и сам он не утаил в своей поэзии — утехами здоровой юношеской чувственности. Впоследствии он вспоминал: «могу сказать вместе с покойной няней моей, хорош никогда не был, а молод был». И он всегда признавал это:

А я, повеса вечно праздный,
Потомок негров безобразный,
Взросленный в дикой простоте,
Любви не ведая страданий,
Я нравлюсь юной красоте
Бесстыдным бешенством желаний...
С невольным пламенем ланит,
Украдкой нимфа молодая,
Сама себя не понимая,
На фавна юного глядит.

Стихи к Оленьке Мэсон говорят именно о таком чувстве со стороны поэта: он не испытывает страданий

любви — одно только «бешенство желаний». Это была, выражаясь его же словами, — «легкокрылая любовь». Что же касается до Оленьки, то краткие и резкие черты, которыми рисует ее поэт, дают достаточное о ней понятие. Она кокетлива, легкомысленна, резва, весела, чувственна, ценит не только «злато», но и «негу», и во всяком случае стоит еще не на той ступени, которую можно определить, как это сделал однажды Пушкин по отношению к другой женщине, словами: «принужденные желанья и златом купленный восторг». Легкий оттенок — если не презрения, то пренебрежения метко передан словами: «мы», «наш», «нам»: это, несостоявшееся свидание было назначено одному, но, конечно, такие свидания назначались и другим.

До нас дошли два портрета Оленьки Масон — две миниатюры, писанные красками. Они изображают ее в разных возрастах и, происходя из двух совершенно различных источников, подтверждают друг друга взаимным сходством. На первом Оленька — во всем расцвете своей молодости и красоты. Юрий Беляев, которому этот портрет принадлежал, в свое время описал его. Оленька красуется на «зеленовато-голубом фоне, — с голубыми глазами, в темнорусой, завитой прическе. И локоны эти — не то золотой хмель, не то крученая канитель. Пышная грудь и синее бальное платье, спущенное с левого плеча... Овал лица почти безукоризненный, вздернутый носик, а главное — это тон миниатюры на слоновой кости, тон прелестниц с бледным и как будто влажным челом и такого же тона плечами, похожими на гиацинты»...¹

Не только с большим остроумием, но и с полным вероятием Ю. Беляев узнал Оленьку Масон в той женщине, которую изобразил Пушкин под именем Дориды

¹ «Вечернее Время» 1913 г., № 391, «Оленька Масон»; см. его же «Мистика вещей» («Столица и Усадьба», № 18, 1914 г.). Оленьку Масон Ю. Беляев собирался сделать одной из центральных фигур в комедии «Зеленая Лампа», которой он к сожалению не окончил (Старый Пушкинист, «Юрий Беляев и Пушкин» — «Стол. и Усад.», № 77 — 78, 1917 г.).

в другом стихотворении того же времени (1820 г.), так и озаглавленном «Дорида»:

В Дориде нравятся и локоны золотые,
И бледное лицо, и очи голубые.
Вчера, друзей моих оставя пир ночной,
В ее объятиях я негу пил душой;
Восторги быстрые восторгами сменялись,
Желанья гасли вдруг и снова разгорались;
Я таял: но среди неверной темноты
Другие милые мне виделись черты,
И весь я полон был таинственной печали,
И имя чуждое уста мои шептали.

Такая она и на портрете: «локоны золотые, и бледное лицо, и очи голубые». Неглубоко чувство, внушаемое ею: в ее объятиях можно думать о другой, память о которой не могут заглушить ее резвые затеи, о той, чей «призрак неотразимый» не в силах отогнать ее сладострастная нега. Вообще Оленька была скорее игрушкой, чем игроком. В лице ее — что-то простое, милое, привлекательное, но не увлекающее, нравящееся, но не покоряющее. Недаром в одном из онегинских вариантов, где Пушкин рассказывает, как увлекался картами Евгений,¹ мы читаем:

О, двойка! ни дары свободы,
Ни Феб, ни Ольга, ни пиры
Онегина в минувши годы
Не отвлекли бы от игры...

Известно, что петербургская жизнь Онегина — жизнь самого Пушкина в тот период, о котором мы рассказываем; в другой редакции этого текста Пушкин говорит уже прямо о себе, в первом лице.

В начале мая 1820 г. Пушкин невольно, но вместе с тем охотно оставил северную столицу, — с какими чувствами, об этом поведала нам его Муза. Прошло несколько недель, и он писал (в эпилоге «Руслана и Людмилы»):

Я пел и забывал обиды
Слепого счастья и врагов,
Измены ветреной Дориды
И сплетни шумные глупцов...

¹ Я. К. Грот, «Пушкин, его лицейские товарищи и наставники», изд. 2-ое, СПб., 1899, стр. 154.

Вскоре он подвел итог прошлому:

Я вас бежал, питомцы наслаждений,
Минутной младости минутные друзья,
И вы, наперсницы порочных заблуждений,
Которым без любви я жертвовал собой,
Покоем, славою, свободой и душой,
И вы забыты мной, изменницы молодые,
Подруги тайные моей весны златяты,
И вы забыты мной...

Но на душе его не осталось горького осадка:

Мне вас не жаль, о таинства ночей,
Воспетые цевницей сладострастной...
Мне вас не жаль, изменницы молодые...

Обиды и измены Оленьки, конечно, не могли больно ранить сердце поэта, и он наверное сохранил неглубокое, но доброе воспоминание о ней. Имя «Ольги» фигурирует среди длинного ряда женских имен в полушуточном «дон-жуанском списке» Пушкина, который он набросал лет девять-десять спустя, но нет основания думать, что это — Масон.)¹

Имя Оленьки Масон случайно мелькнуло в «Воспоминаниях» Ф. П. Фонтон², который в 1829 г. писал своему приятелю, П. И. Кривцову, о красавице-турчанке Абибе-Шериф. Эта очаровательница «прикомандировалась к главной квартире, как так называемая вдова великой армии Наполеона... Какая женщина эта Абибе-Шериф!» С упоением описывая ее наружность («это все прелесть, очарование»), Фонтон называет ее за шаловливость, изящество, резвость — «Джином женского пола». И вот этот капризный чертенок напомнил Фонтону — Оленьку Масон. Вскоре Фонтон пишет приятелю,³ что встретил очаровательную турчанку, значительно остепенившуюся, с каким-то егерским

¹ Может быть Ольга Калашникова (см. П. Е. Щеголев «Пушкин и мужики», М., 1928, стр. 47).

² «Юмористические, политические и военные письма из главной квартиры Дунайской армии в 1828 и 1829 годах», т. II, Лейпциг. 1862, стр. 155.

³ Там же, стр. 200.

капитаном, который «верно чорта с нее согнал. Нет Джина с нею. Досадно, да и только! Может, через год или два Абибе-Шериф повторит то, что случилось с Оленькой Масон, которая после бесчисленных мятежных заблуждений, вышедши замуж за почтенного чиновника, в Могилеве, на балу у фельдмарша Сакена, открыла в первой паре полонезу».

Итак Оленька кончила иначе, чем можно было ожидать, и нашла мирную, спокойную пристань — из полусвета перешла в свет, хотя и провинциальный, но строгий и солидный. По дошедшим до нас сведениям из «жрицы наслажденья» вышла «верная супруга и добродетельная мать». На второй миниатюре, писанной также очень недурным художником в 1830 г. за границей, на слоновой кости, она лет на десять старше, но с теми же живыми голубыми глазами, великолепными плечами и роскошной грудью, с тою же кроткой складкой нежных губ и опять в синем бальном платье: голубоглазая блондинка, она знала, что синий или голубой цвет ей всегда к лицу.

Так в рое призраков, окружающих в памяти потомства юность нашего величайшего поэта, милой голубою тенью пронесится Оленька Масон.

СТИХИ О МАРИНО ФАЛЬЕРИ

Лев Сергеевич Пушкин, брат поэта, в 1850 г., в Одессе, как-то зазвал к себе Б. М. Маркевича и Н. Ф. Щербину. Об этой встрече впоследствии Маркевич рассказал в письме к князю Н. Н. Голицыну.¹ Лев Сергеевич обещал молодым людям сюрприз.

— Какой? Не скажу заранее, — засмеялся он. — Увидите сами.

Мы пришли втроем к нему на дом. На письменном столе его кабинета лежали два пожелтевшие листка, один величиною в четвертушку,² другой несколько подлиннее и с оборванным углом.

— Вообразите, — сказал он, взяв последний из них в руки, — вчера в старом словаре нашел у себя неизвестный оригинал брата.

Щербина кинулся к нему.

— Автограф великого! — воскликнул он восторженно. — Позвольте прикоснуться благоговейными устами. . .

Он склонился над бумагою. Лев Сергеевич был видимо тронут этим и поцеловал его в голову.

— Четыре стиха разобрал, прелесть! — заговорил он опять. — А дальше не мог, перемарано очень, да и глаза ослабели. Не поможете ли вы, господа?

Мы, разумеется, поспешили приняться за работу.

Четыре начальные, разобранные Львом Сергееви-

¹ «Русск. Вестник» 1888, сентябрь, 426 — 430.

² На нем была записана пьеса «В утлом челне и беззвездною ночью». . . (о ней см. мою ст. «Забывтое стихотворение пушкинского пошиба» в «Речи» 1911 г., № 201).

чем, быстрою рукою написанные стиха известны теперь¹ всем:

Ночь темна. В небесном поле
Ходит Вesper золотой;
Старый дож плывет в гондоле
С догарессой молодой...

Затем следовало десять или двенадцать строк, с приписками на полях, но и те, и другие были действительно так помараны широкими, очевидно нетерпеливыми, размахами пера, что, кроме нескольких отрывочных слов, которые привести в связь между собою мы никакой не нашли возможности, ничего разобрать было нельзя. А между тем, судя по началу, какое обещалось тут новое сокровище!..

Побились мы втроем с полчаса времени и отступились».

Где находится теперь этот автограф, и сохранился ли он, неизвестно. О нем упоминается в журнале «Библиографические записки» 1858 г. (№ 1, стр. 1, примеч.), в связи с описанием находившихся у Льва Сергеевича бумаг поэта, но в Румянцовский музей, куда были переданы письма Пушкина к брату, этот листок не попал.

Лев Сергеевич показывал его также М. Н. Лонгинову, который в своих «Библиографических записках»² сообщает: «отрывок найден был братом поэта, Л. С. Пушкиным, от которого я узнал его. Кажется, это начало стихотворения под заглавием: «Марино Фальери».

Ночь светла; в небесном поле
Ходит Вesper золотой,
Старый Дождь плывет в гондоле
С Догарессой молодой».

Приведенные Лонгиновым четыре стиха Анненков в следующем году перепечатал в VII, дополнительном томе своего издания сочинений Пушкина,³ а еще через

¹ Это писано в 1880 г.

² «Современник», т. LVIII, 1856 г., июль, отд. V, стр. 11.

³ Стр. 98.

год набросок появился в «Библиографических записках» с подлинника, в такой передаче:

Догорала молодая
В голубом эфире
Блещет месяц золотой
Старый Дождь плывет в гондоле
С догарессой молодой».

П. А. Ефремов сообщает некоторые сведения о рукописи: «далее было набросано еще около десяти стихов, не поддавшихся чтению»;¹ «набросок был напечатан Лонгиновым по памяти, с совершенным искажением двух первых стихов; в «Библиографических записках» 1858 г. дан текст по рукописи, с недочитанным словом в первом стихе, из предыдущих стихов этой рукописи можно еще разобрать только один «Догорала молодая».²

Те же сообщенные Лонгиновым четыре стиха появились в обоих изданиях Г. Н. Геннади.³ В первом издании Ефремова⁴ дана новая переделка текста, материалом для которой послужили редакции Лонгинова и «Библиографических записок» 1858 г.:

... В голубом эфира поле
Блещет месяц золотой;
Старый дождь плывет в гондоле
С догарессой молодой.

Во втором издании Ефремова⁵ набросок дан тоже в редакции, будто бы принадлежащей «Библиографическим запискам»:

... В голубом эфира поле
Блещет месяц золотой;
Старый дождь плывет в гондоле
С догарессой молодой.
Догорала молодая...

¹ Сочин. Пушкина, ред. Ефремова, изд. Суворина, т. VIII, 1905 г., стр. 190.

² Сочин. Пушкина, изд. 1880 г., I, 563 — 564; срав. изд. 1882 г., I, 532.

³ 1859 г., I, 583; 1870 г., I, 525.

⁴ 1880 г., I, 416.

⁵ 1882 г., I, 532.

В этом виде, лишь с заменой в пятом стихе слова «Догорала» другим — «Догаресса», отрывок вошел и в издание литературного фонда, под редакцией П. О. Морозова,¹ повторившего этот текст и в следующем своем издании.² В следующих собраниях сочинений Пушкина судьба текста такая. В своем последнем издании Ефремов³ повторил редакцию своего первого издания, дав в примечаниях⁴ текст «Библиографических записок». Последний текст дал и С. А. Венгеров в своем издании.⁵ В академическом издании⁶ дана редакция первого ефремовского, а в примечаниях приведен текст «Библиографических записок».

Разумеется, из всех названных текстов значение имеет только тот, который был сообщен в «Библиографических записках» 1858 г. с подлинника. Мы располагаем, таким образом, пятью строками чернового оригинала, описаниями Маркевича и Ефремова и ценным указанием Лонгинова на Марино Фальери.

Поэт А. Н. Майков, решившись «дописать» начатую Пушкиным пьесу, знал показание Лонгинова и на нем основывался, и оно-то дает ключ к пониманию возникновения пьесы. Приведя четыре строчки, сообщенные Лонгиновым, А. Н. Майков говорит:⁷ «да простит мне тень великого поэта попытку угадать: что же дальше было?»...⁸ Вот стихотворение Майкова:

СТАРЫЙ ДОЖ.

«Ночь светла, в небесном поле
«Ходит Веспер золотой,
«Старый Дож плывет в гондоле
«С Догарессой молодой»...

¹ 1887 г., I, 290.

² «Просвещение», 1903 г., I, 338.

³ Изд. Суворина, т. I, 1903 г., стр. 479.

⁴ VIII, 190.

⁵ Т. II, 1908 г., стр. 156.

⁶ Т. III, 1912 г., стр. 154, прим., 272 — 273.

⁷ «Нива» 1888 г., № 17, стр. 426 — 427.

⁸ Ср. «Русс. Стар.» 1899, март, 496 — 498; см. «Наша Старина» 1914, № 6, стр. 525 («Из литературного прошлого нашей столицы»).

Занимает Догарессу
Умной речью Дождь седой...
Слово каждое по весу,
Что червонец дорогой...
Тешит он ее картиной,
Как Венеция, тишком,
Весь, как тонкой паутиной,
Мир опутала кругом:
«Кто сказал бы в дни Аттилы,
Чтоб из хижин рыбарей
Всплыл на отмели унылой
Этот чудный перл морей!
Чтоб укрывшийся в лагуне
Лев святого Марка стал
Выше всех владык, — и втуне
Рев его не пропадал!
Чтоб его тяжелой лапы
Мощь почувствовать могли
Императоры, и папы,
И султан, и короли?
Подал знак, — гремят перуны,
Всюду смута настает,
А к нему, в его лагуны,
Только золото плывет»...
Кончил он, полусмеясь,
Ждет улыбки, — но глядит, —
На плечо его склоняся,
Догаресса мирно спит!..
«Все дитя еще!» с укором,
Полным ласки, молвил он, —
Только слышит — вскинул взором —
Чье-то пенье... цитры звон...
И всё ближе это пенье
К ним несется над водой,
Рассыпаясь в отдаленьи
В голубой простор морской...
Дождю вспомнилось бывшее...
Море зыбилось едва...
Тот же Веспер... «Что такое?
Что за глупые слова!»
Вздрагнул он, как от укола

Прямо в сердце... Глядь: плывет,
 Обгоняя их, гондола,
 Кто-то в маске там поет:
 «С старым Дожем плыть в гондоле...
 Быть — его и — не любить...
 И к другому, в злой неволе,
 Тайный помысел стремить...
 Тот другой — о, Догаресса!..
 Самый ад не сладит с ним!
 Он безумец, он повеса, —
 Но он любит и — любим!»...
 Дождь рванул усы седые...
 Мысль за мыслью, целый ад,
 Словно молний стрелы злые,
 Душу мрачную браздят...
 А она — так ровно дышит,
 На плече его лежит...
 «... Что же?.. Слышит иль не слышит?
 Спит она или не спит?»...

Пушкин дал А. Н. Майкову тон и творческий импульс, но все-же стихотворение Майкова нельзя считать самостоятельным. Оно представляет собою вариацию на тему, взятую из новеллы Э. Т. А. Гофмана «Дождь и догаресса», входящей в цикл «Серапионовых братьев». Темой послужил следующий эпизод.

Старый дождь Марино Фальери и молодая догаресса Аннунциата едут в гондоле в Джудекку, в загородный дома дождя. В числе гребцов — влюбленный в догарессу юноша Антонио; догаресса тоже равнодушна к нему.¹ «Близость возлюбленной Аннунциаты, которой он почти касался платьем, придавала ему особенную способность сдерживать порывы своей любви и с удвоенной силой работать веслом, так что ему почти не приходилось на нее взглянуть. Старый Фальери был весел. Он шутил, смеялся, целовал маленькие ручки Аннунциаты, обнимал рукой ее гибкий стан. Гондола, между тем, выплыла в открытое море, откуда вся прекрасная Венеция с ее гордыми башнями и дворцами открылась перед пут-

¹ Цитир. по русск. изд. Собр. сочин. Гофмана, т. II, СПб., 1896 г., стр. 338 — 339.

фиками, как на ладони. Фальери гордо поднял голову и сказал, самодовольно озираясь: — «Ну, что, моя дорогая? не правда ли, весело плыть по морю с его властителем и супругом? Ты, однако, не должна ревновать меня к этой супруге, которая несет теперь нас обоих на своих волнах. Слышишь их сладкий плеск? Не похож ли он на слова любви, которые она шепчет своему супругу и повелителю? Но эта супруга схоронила мой брошенный перстень, а ты носишь его на пальце!» — «Ах, мой повелитель, — возразила Аннунциата, — может ли холодная, коварная стихия быть твоей супругой? Мне неприятна даже мысль, что ты зовешь своей женой бесчувственное, бесконечное море!» Фальери засмеялся, так что у него задрожали подбородок и борода. — «Не бойся, моя голубка, — перебил он, — я знаю, что покоиться в твоих нежных объятиях приятнее, чем в морской глубине, но не правда ли, хорошо и приятно плыть по морю с его повелителем?» В ту минуту, как дож сказал эти слова, внезапно донеслись издали звуки музыки. Тихий мужской голос, далеко разносимый по волнам, пел:

Ah! senza amare
Andare sul mare
Col sposo del mare,
Non puo consolare!

Раздались другие голоса, и в их созвучии слова пропеты песни, повторившись несколько раз, наконец замерли, разнесенные ветром. Фальери не слышал ничего и продолжал рассказывать Аннунциате историю происхождения торжества, когда дож с высоты Буцентавра бросает в море свой обручальный с ним перстень. Он говорил о победах республики, как были ею завоеваны Истрия и Далмация при доже Петре Орсеоло Втором, и как с тех пор был введен обычай обручения с морем. Но если пропетая песня прошла незамеченной мимо ушей Марино Фальери, точно так же незамеченным прошел для Аннунциаты его рассказ. Она была глубоко поражена унесшимися вдаль звуками. Глаза ее смотрели неопределенно и задумчиво, как у того, кто, внезапно пробудясь, не может еще дать себе

отчета в мыслях. — «Senza amare! senza amare! non puo consolare!» — шептали уста, и светлые, как блестящие перлы, слезы невольно навернулись на прекрасных глазах, между тем как глубокий, подавленный вздох вырвался из взволнованной накипевшим чувством груди. А Марино Фальери, веселый как прежде, и все продолжая рассказ, вышел из гондолы на крыльцо своего дома против церкви Сан-Джорджо Маджоре, не замечая, что Аннунциата, точно под гнетом какого-то тяжелого предчувствия, молча и задумчиво стояла возле него, с устремленным куда-то вдаль взором». . . После гибели дожа-заговорщика влюбленные покидают Венецию, но погибают в море, которое восстает на них, «словно ревнивая вдова обезглавленного Фальери».

«Попытка угадать, что дальше было», далась без особого труда А. Н. Майкову,¹ слегка изменившему рассказ Гофмана, у которого дож, ничего не замечая, сохраняет беззаботное настроение. Пушкин, вероятно, также основывался на новелле Гофмана, хотя невозможно решить, собирался ли он просто переложить в стихи очаровательную сцену, или хотел по-своему отнестись к дожу и догарессе.² Имя Марино Фальери, сохраненное памятью Лонгинова в связи с известными стихами пьесы, обращает нас к новелле Гофмана, как к источнику несомненного литературного влияния.³

К какому времени может быть отнесен отрывок?

¹ Еще одна такая попытка принадлежит М. Славинскому («Север» 1896 г., № 29). Она вызвала странную полемическую заметку П. Боброва в «Русс. Вестн.» 1896 г., декабрь, 1135 — 1137. Продолжить стихотворение Пушкина в наши дни попытался Владислав Ходасевич («Романс» в московском журнале «Россия» 1924 г., № 2 (11), стр. 147).

² «Так и не узнать никогда, что было сказано между дожем и догарессой молодой, когда они плыли в гондоле, и над ними ходил Веспер золотой. Майков дерзнул продолжить и кончить это великолепное пушкинское четверостишие и угадать, «что было дальше», но остался Майковым, не поймал отлетевшей тайны Пушкина» (А. Измайлов, «Должно быть, Пушкина сочинение» — «Бирж. Вед.» 15 авг. 1907).

³ Считаю нелишним отметить колебания одного критика, мимоходом заявившего, что «пушкинский отрывок не дает, быть может основания возводить его к названной новелле» (Р. Шор. «Из новой литературы по Гофману» — «Печать и Революция» 1924 г., кн. 2, стр. 132).

Ни Маркевич, ни Лонгинов, ни «Библиогр. Записки» не дают никаких оснований для его хронологии. У Анненкова и Геннади он не датирован. П. А. Ефремов в издании 1880 г. без всяких объяснений отнес его к 1822 г., а в издании 1882 г.¹ датировал его так же, но осторожно прибавил: «вероятно»... Эту дату сохранили, тоже без мотивировки, все следующие издания, вплоть до академического, редактор которого, впрочем, заметил:² «основания, по которым этот отрывок относится к 1822 г., нам неизвестны». Ю. Оксман, посвятивший вопросу о дате его специальную статью,³ указал наиболее вероятный источник знакомства Пушкина с новеллой Гофмана — ее русский перевод, появившийся в «Литературных прибавлениях к Сыну Отечества» 1823 г., кн. XII. Это весьма возможно. В том же году поэт мечтал («Евгений Онегин», гл. 1, XLIX):

Ночей Италии златой
Я негой наслажусь на воле,
С Венецианкою младой,
То говорливой, то немой,
Плывя в таинственной гондоле, —
С ней обретут уста мои
Язык Петрарки и любви..

¹ I, 532.

² Т. III, примеч., стр. 272.

³ «К вопросу о дате стихов Пушкина о старом дожде и молодой догарессе» («Русс. Библиофил» 1915 г., № 3, стр. 90 — 94).

У ВОЗМОЖНЫХ ИСТОКОВ „ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА“

I

С Ю Ж Е Т

Из любого сложного художественного повествования нетрудно выделить простую, внешнюю схему, по которой оно составлено, его остов. Если оставить в стороне характеры, поэтический пафос, литературный стиль, историческую и бытовую обстановку, пред нами предстанет в самом примитивном виде лишенный плоти и обескровленный, нагой сюжет, содержание, краткое изложение «своими словами». . . У Шекспира, как доказано давно, нет ни одного «своего» сюжета, им самим вымышленного; он пользовался то старинным преданием, то отрывком из летописи, то итальянской новеллой. Гоголь построил «Мертвые души» и «Ревизора» на рассказанных ему Пушкиным анекдотах. Ничего, конечно, невозможного нет в том, что и в «Евгении Онегине» самого Пушкина также «сюжет заимствован».

Есть у К. Ф. Рылеева, бывшего пламенным поэтом-гражданином, но весьма посредственным художником-психологом, довольно плохой рассказ, содержание которого очень близко напоминает «Онегина». Мало кто помнит рассказ Рылеева, но он так краток, что его не трудно привести целиком.¹ Он называется — «Чудак».

«Угрюмов был странный человек: он ненавидел женщин и, не веря добродетели их, везде поносил прекрасных. За два года пред сим писал он другу своему:

«Представь себе: батюшка было вздумал меня женить и, не сказав мне ни слова, повез к Добронравову,

¹ Из «Невского Зрителя» 1821 г., ч. V, февраль, 160 — 163.

На половине дороги признался он, что едет сватать за меня Лизу, старшую дочь сего старого своего друга, сослуживца и соседа. — Но разве не знаете вы, что сын ваш никогда не намерен жениться? — сказал я ему. — Почему? — спросил он сурово. — Потому, что я ненавижу женщин. — Такой вздор и слушать я не хочу. Ты должен непременно жениться и жениться на Лизе, если не имеешь в виду другой девицы. — Но, батюшка, мне ни Лиза, никто не нравится: вы сделаете нас несчастными. — И это вздор! Женись! Я тебе приказываю. — Так решительно батюшка еще никогда не говаривал мне; я заключил, что он решился женить меня во что бы то ни стало! Между тем мы подъехали к дому Добро-нравовых. Входим и застаем все семейство в гостиной. Лиза имеет вид весьма привлекательный. Что, — подумал я, — если бы и душевные ее качества соответствовали наружным! Я бы мог быть счастливым. . . Но мечта, мечта! И я, зная, что батюшка никогда не любит шутить, решился открыться ей самой, что я не могу быть ее супругом. Избрав удобный случай, когда старики удалились, я без дальних околичностей объяснился с нею. Она дала слово отказать мне и исполнила оное. Теперь, слава богу, я спокоен. Батюшка не тревожит меня, и я восхищаюсь, что таким образом избавился от ужасного несчастья — «быть женатым».

Шутливый друг отвечал чудачку в следующих выражениях:

«С боязнию за тебя читал я последнее письмо твое; оно дышит ненавистью к нежному полу. . . Или ты забыл, какая участь постигла смельчака Тирезия, дерзнувшего только отдать преимущество мужскому полу пред женским (что он один только и был в состоянии справедливо сделать, быв и мужчиною и женщиною)? Юнона, мстя ему за сие, и, вероятно, затем, дабы он впредь не видел недостатков пола ее, бесчеловечно лишила его зрения, которого, конечно, не променял бы он на дар пророчества, коим за оказанную справедливость наделил его царь богов и человеков. Ревнуя ко благу друзей моих, поставлю себе за священную обязанность предостеречь тебя, дабы ты, говоря впредь о милом поле, был несколько поосторожнее, если

только не желаешь на самом себе испытать несчастье Тирезия тем вернее, что Юноны нашего времени нимало не снисходительнее и не хуже Юноны лет древних. Красота многих из них ослепительна, и если ты не наделен от Гермеса, подобно Улиссу, чудесною травкою моли, предохраняющею от очарования красоты, то будь уверен, что никакие средства не спасут тебя от сетей какой-нибудь красавицы — следственно от ослепления; даже непобедимое хладнокровие того философа, над которым славная Лаиса, тщетно истощив все средства обольстительного искусства хитрых гетер, сказала наконец, что она взялась прельщать человека, а не статую.

Так, любезный друг, я боюсь за тебя. Нежный пол, тобою оскорбленный, будет непременно отомщен».

И представьте: боязнь шутливого друга была справедлива. По прошествии года Лиза вышла за Ариста, друга Угрюмова. Посещая их, чудак неприметно влюбился в прежнюю свою невесту и на опыте дознал, что и женщины могут быть добродетельными, ибо Лиза, несмотря на то, что сама пламенно полюбила Угрюмова, осталась верною супругой Ариста, за которого отдана была против желания».

По ситуации в «чудаке» не трудно узнать Онегина, которому Пушкин тоже не раз дает это прозвище,¹ а в Лизе — Татьяну. Чрезвычайное сходство заключается в тождестве положений: и Угрюмов, и Онегин влюбляются в отвергнутых ими прежде женщин; Лиза, как и пушкинская Татьяна, любя Угрюмова, не решается оставить для него нелюбимого мужа: «и женщины могут быть добродетельными». Есть некоторое сходство и в характеристиках обоих героев. Угрюмов «ненавидел женщин и, не веря добродетели их, везде поносил прекрасных». Так же думал и Онегин.

Красавицы недолго были
Предмет его привычных дум...²
Причудницы большого света,
Всех прежде вас оставил он...³

¹ 1, IV; 6, XLII; 7, XXIV; 8, VIII, XII, XL.

² 1, XXXVII.

³ 1, XLII.

В красавиц он уж не влюблялся,
 А волочился как-нибудь;
 Откажут, — мигом утешался;
 Изменят, — рад был отдохнуть.
 Он их искал без упоенья,
 А оставлял без сожаленья,
 Чуть помня их любовь и злость...¹

Колебания Угрюмова, который, увидев Лизу, подумал: «Что, если бы и душевные ее качества соответствовали наружным! Я бы мог быть счастливым... Но мечта, мечта!» напоминают волнение, охватившее пушкинского героя, когда он получил письмо Татьяны.

Онегин живо тронут был:
 Язык девических мечтаний
 В нем думы роем возмутил;
 И вспомнил он Татьяны милой
 И бледный цвет, и вид унылой;
 И в сладостный, безгрешный сон
 Душою погрузился он.
 Быть может чувствий пыл старинный
 Им на минуту овладел...²

Так же, как Онегин Татьяне, Угрюмов открыл Лизе, что «не может быть ее супругом», и так же, как и тот, «избавился от ужасного несчастья — быть женатым». Так же, как и Онегин, Угрюмов слишком поздно сознал свою ошибку.

Пушкин, который иногда печатался в «Невском Зрителе»³ и, конечно, читал этот журнал, не мог не знать рассказа Рылеева. Поэт писал своего «Онегина» несколько лет, работал над ним урывками и, не имея определенного плана, в начале работы «даль свободного романа сквозь магический кристалл еще неясно различал»; быть может, бессознательно воспринял он из рассказа Рылеева указанные выше черты, подверг-

¹ 4, X.

² 4, XI.

³ В 1820 г. в «Невском Зрителе» были напечатаны пьесы Пушкина — «Дориде», «Дорида», «Кюхельбекеру» («Разлука»), «К прелестнице» и отрывок из «Руслана и Людмилы».

шиеся в «Онегине» такой вдохновенной переработке. Гений, который берет свое добро всюду, где находит его, сумел извлечь полезное для себя из скучно-риторического, пустого рассказа Рылеева, написанного с таким наивным рвением угодить «милому полу» и покатить «добродетели женщин». Вообще же Пушкин был довольно высокого мнения о таланте Рылеева, поэма которого «Войнаровский» оказала значительное влияние на пушкинскую «Полтаву». В пушкинском творчестве то здесь, то там встречаются следы различных влияний и впечатлений, полученных от писателей всевозможных величин.

Показанное сходство в сюжетах рылеевского «Чудака» и «Евгения Онегина» слишком значительно для того, чтобы быть случайным совпадением; но, конечно, нельзя думать, что столь ничтожная вещь могла оказать какое-нибудь прямое влияние на гениальный роман. В данном случае мы встречаемся с таким обычным явлением, как простая реминисценция некоторых образов и положений, послуживших великому художнику канвой, на которой он расшил свою великолепную картину.

II

ОДИН ИЗ ПРООБРАЗОВ ТАТЬЯНЫ

Выйдя из лица, Пушкин поселился в родительской семье, в «полууездной» тогда Коломне, на Фонтанке, у Калинкина моста (в доме Клокачева), и стал бывать в тамошней церкви Покрова Богородицы. Впоследствии он вспоминал об этом времени:

Я живу
Теперь не там, но верною мечтою
Люблю летать, заснувши на яву,
В Коломну, к Покрову — и в воскресенье
Там слушать русское богослуженье.

Здесь, в церкви, он встречал женщину, о которой забыть не мог.

Туда, я помню, ездила всегда
Графиня.. (звали как, не помню, право).
Она была богата, молода,

Входила в церковь с шумом, величаво,
Молилась гордо (где была горда!) —

Бывало, грешен, все гляжу направо,
Все на нее...

...Была погружена

В самой себе, в волшебстве моды новой,
В своей красе надменной и суровой.

Она казалась хладный идеал

Тщеславия. — Его б вы в ней узнали;

Но сквозь надменность эту я читал

Иную повесть: долгие печали,

Смиренье жалоб... В них-то я вникал,

Невольный взор они-то привлекали.

Но это знать графиня не могла

И, верно, в список жертв меня внесла.

Она страдала, хоть была прекрасна

И молода, хоть жизнь ее текла

В роскошной неге, хотя была подвластна

Фортуна ей, хоть мода ей несла

Свой фимиам, — она была несчастна...

Рядом с нею «простая, добрая» Параша, героиня «Домика в Коломне», «казалась, бедная, еще бедней». Но вдумчивого, наблюдательного юношу-поэта не ослеплял властный взгляд красавицы. Он безошибочным чутьем участливого сердца разгадал в светской львице страдающего человека и понял, что перед ним глубоко-несчастливая женщина, что смиренная Параша «блаженнее стократ ее была».

В графине есть что-то общее с Татьяной-княгиней, и это сразу бросается в глаза. И Татьяна умела скрывать свое страдание под маской надменной светскости, окружать себя «крещенским холодом», налагать печать равнодушия на «упрямые уста». Татьяна появляется в бальной зале, как графиня в церкви, — «толпа заколебалась, шопот пробежал»...

Она была не тороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех...
Она казалась верный снимок
Du comme il faut...

Но для поэта она—«прежняя Таня, бедная Таня», и он знает ее повесть — «долгие печали, смиренность жалоб»...

П. А. Плетнев, которому поэт посвятил «Онегина», первый передал нам имя графини. «Домик в Коломне» — писал он в 1846 г. Я. К. Гроту¹ — «для меня с особенным значением. Пушкин, вышедши из лицея, действительно жил в Коломне... Здесь я познакомился с ним. Описанная гордая графиня была девица Буткевич, вышедшая за 70-летнего старика, графа Стройновского (ныне она уже за генералом Зуровым). Следовательно, каждый стих для меня есть воспоминание или отрывок из жизни». Здесь что ни слово — точнейшее историческое свидетельство, не только потому, что исходит от близкого друга Пушкина, но и потому, что Плетнев не мог не быть точным,² сообщая воспоминание, которое было ему так дорого. П. В. Анненков³ высказал предположение, что «первая мысль о «Домике в Коломне» должна быть отнесена даже ко времени прибытия автора из Царского Села в Петербург, тотчас по выпуске из лицея. Он тогда жил действительно у Покрова, в соседстве той пышной красавицы, которая»... и т. д., — еще одно подтверждение правильности сообщения Плетнева.

Не трудно понять из намека Пушкина и краткого рассказа Плетнева, в чем состояло несчастье графини Стройновской: она, юная и прекрасная, томилась за нелюбимым, старым мужем. И ей наверное в девических мечтах рисовалась иная судьба, быть может не такая блестящая, зато счастливая, но она, как Татьяна, «другому отдана» и должна быть ему верна.

Интересные сведения о графине Стройновской оставил ее племянник Н. С. Маевский в своих «Семейных воспоминаниях».⁴ Его рассказ обстоятельно подтверждает то, что мы уже знаем о ней.

¹ Переписка Грота с Плетневым, II, 693.

² В 1851 г. П. В. Нащокин тоже рассказал Бартеневу, что в «Домике в Коломне» говорится о графине Стройновской («Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартенева», М., 1925, стр. 29).

³ «Материалы для биографии Пушкина», изд. 1855 г., стр. 294.

⁴ «Историч. Вестник» 1881 г., окт. и ноябрь.

Екатерина Александровна Буткевич, дочь генерал-лейтенанта Алекс. Дм. Буткевича, командовавшего в звании шефа Белозерским пехотным полком, родилась 6 августа 1799 г. и была, значит, почти ровесницей Пушкину. Она «уже с самого раннего возраста выказывала свой будущий характер. С детства величественная и бесстрастная, она не принимала участия в детских играх младших сестер и брата и только изредка, в минуты особого к ним благоволения, позволяла им заперчься в ее маленькие сани и катать ее». Настоящая маленькая Татьяна, которая «дитя сама, в толпе детей играть и прыгать не хотела», в которой рано замечались признаки «охоты властвовать»...

Настало время, когда ей явился «он». Это был молодой граф Александр Николаевич Татищев. Он уже считался ее женихом, «но, когда дело пришло к развязке, старый граф запретил сыну и думать об этой невесте... Положение семьи было затруднительное... Вывозить девушек было не на что, да и как вывозить, когда разошлась свадьба, о которой говорил весь город, и которую все считали несомненною? По тогдашним понятиям девушка, хотя и ни в чем неповинная, считалась опозоренною, а в данном случае необыкновенная красота невесты только увеличивала злословие и злорадство соперниц, их матушек и тетушек».

Сердце молодой девушки, уязвленной и в своей любви, и в гордости, застыло и окаменело. «Для бедной Тани все были жребии равны», и родным, и близким скорейшее ее замужество представлялось, конечно, единственным выходом из создавшегося невыносимого положения.

Скоро подвернулся совершенно неожиданный жених. Это был поляк, граф Валериан Венедиктович Стройновский, богач, сенатор, действительный тайный советник, ученый и писатель, — тот Стройновский, книга которого «О условиях помещиков с крестьянами» (Вильно, 1809 г.) когда-то смутила наших крепостников и некоторое время была даже под запретом. Он был старик, старше Екатерины Александровны на сорок лет (род. в 1759 г.). «Смолоду красавец и обладатель громадного состояния, он, говорят, имел громад-

ный успех у женщин как в Польше, так и в Европе, особенно в Австрии, где находилась большая часть его имений. Не только европейски образованный, но ученый, он был доктором прав и медицины, тонким знатком и ценителем искусств и поклонником женской красоты до конца своих дней». Екатерину Александровну он впервые увидел в доме сенатского обер-секретаря Коханского за завтраком, специально для этой цели устроенным. «Красота Екатерины Александровны, правильная и холодная, как красота греческой богини, поразила его, — он тут же решил добиваться руки ее. Согласие родителей было заранее обеспечено, но как добиться согласия невесты? Это было не так легко: во-первых восемнадцатилетней красавице выйти замуж за почти шестидесятилетнего старца казалось почти самоубийством, во-вторых она далеко еще не забыла своей первой любви, графа Татищева».

Тут вспоминаются горькие слова Татьяны: «меня с слезами заклинаний молила мать»... «Запершись наедине с своей дочерью», — продолжает Маевский свой рассказ, — «несчастливая мать, обливаясь слезами, объяснила ей ужас положения семьи во всей его наготе. Бедная девушка уже давно догадывалась о многом, хотя ее молодость и неопытность и не позволяли ей постичь всю суть дела. Признания матери раскрыли под ее ногами бездну. Сама смущенная не менее дочери, мать опустилась перед нею на колени и, покрывая ее руки горячими поцелуями, умоляла принести себя в жертву для спасения всей семьи. Дочь дала это согласие, дала его просто, безусловно, без паясничанья и гримас, с достоинством, как и всё, что она ни делала. Мать облила слезами это восхитительное личико, потом стерла следы их с ее чудных синих глаз и пошла к деду объявить о ее согласии. Дед не поверил и потребовал, чтобы его Катенька сама подтвердила ему свое решение. Холодно и бесстрастно молодая девушка ответила, что она находит партию вполне выгодною, что, несмотря на разность лет, она надеется быть счастливою с графом благодаря его редким качествам, и потому, если папенька изволит дать свое согласие на этот брак, то и она согласна. Железный старик дрогнул. Он по-

чувствовал, сколько преданности и самоотвержения скрывается в этих фальшивых нотах, и понял, что она не желает даже признавать себя жертвой, щадя его гордость и глубоко оскорбленное самолюбие. Взволнованный и растроганный, он привлек дочь к себе на грудь и сквозь слезы дал ей свое благословение. С этих пор родители благоговели перед своею дочерью, а младшие сестры и брат почитали ее второю матерью, и она оправдала их доверие.

«С тою же бесстрашною улыбкою, с тем же горделиво-спокойным взглядом, с которым она в детстве каталась на саночках, запряженных удалою тройкою из брата и двух сестер, но на этот раз с ясным сознанием свято выполненного долга, восемнадцатилетняя красавица пошла к брачному алтарю с своим почти шестидесятилетним женихом». Венчание совершилось в коломенской церкви Покрова, недалеко от которой жили Буткевичи (на углу Садовой и Фонтанки). Это было в 1817 или 1818 году.

«Бог благословил этот союз. Тетка моя нашла в нем возможное счастье. Муж ее был чрезвычайно умен и образован, и ум его был одинаково приятен как для гостиных, так и для тихой домашней жизни. Он тешил жену всеми средствами, какие давало ему его громадное состояние, никогда ничем не стеснял ее; действуя авторитетом не власти, а советов, он сумел сделаться ее другом и так овладел ею, что она сама прежде всего желала знать его мнения и образ мыслей. Он искренно и горячо полюбил ее семейство; дед и бабушка любили и почитали его, как их лучшего друга; младшие члены семьи видели в нем второго отца. Чтобы не разлучать тетки с ее родителями, он купил ей соседнее имение в две тысячи душ и построил там каменный дом».

Но светская жизнь ей не задалась. «В первую зиму после свадьбы граф Стройновский попробовал вывозить свою жену. . . Первый контрданс она протанцевала с государем Александром Павловичем, а затем весь вечер танцевала с страшнейшим из ловеласов того времени Чернышевым (впоследствии светл. князем). Произведенный ею эффект доходил до фурора и испугал старого графа: первый выезд тетки был и послед-

ним. Она, впрочем, никогда и не возбуждала об этом вопроса, всё более и более погружаясь в свой величавый индифферентизм».

Несколько лет спустя, в 1823 г., у Стройновских родилась дочь — Ольга, и крестил ребенка тот же священник, который венчал мать, и в той же церкви Покрова. Как это обыкновенно бывает при таком неравенстве в летах супругов, ребенок был хилый. «Портрет отца, с рождения она носила какой-то странный отпечаток старческой дряхлости: поставив рядом портреты отца и дочери в самом юном ее возрасте, зритель поражался их сходством».¹

Вскоре после рождения дочери дела Стройновских пошатнулись. Граф, занимавшийся ведением чужих тяжёлых дел в сенате, в котором сам присутствовал, был обвинен в недобросовестном совмещении обязанностей судьи и адвоката и, по повелению императора Александра I, отставлен от службы без суда и следствия; при этом он проиграл и процесс, из-за которого вышел скандал, и ему пришлось заплатить противнику около миллиона рублей. Он продал свой роскошный петербургский дом, собрание картин и еще многое другое, и супруги переехали в свою новгородскую деревню. Здесь граф занимался хозяйством, литературой, лечил крестьян (одна из его причуд) и медленно дряхлел и угасал. Здесь же графине пришлось однажды выказать свое неизменное самообладание. Во время холерного бунта 1831 г. поместье Стройновских подверглось нападению, — «молодая графиня, как новая амазонка, храбро вступила в бой и верхом на коне хладнокровно командовала и распоряжалась своими людьми против нападающих».² В начале 1835 г. ~~она~~ умер. По окончании траурного года графиня Екатерина Александровна вышла за тульского губернатора, генерала с прекурьюзным

¹ В 1842 г. гр. О. В. Стройновская вышла за князя Д. Г. Багратиона-Имеретинского, командира Гродненского гусарского полка, в 1845 г. овдовела, умерла от чахотки в 1853 г. «Это была» — говорит Маевский, «одна из лучших женщин своего времени, подобно отцу своему обладавшая твердым, светлым умом и страстно любившая искусства и литературу».

² А. Ушаков, «Холерный бунт в Старой Руссе в 1831 г. Рассказ очевидца» («Русс. Стар.» 1874 г., январь, 161).

именем и отчеством,¹ Елпидифора Антиоховича Зурова (1798 — 1871), впоследствии новгородского губернатора и сенатора. Это тот самый Зуров, при котором Герцен в Новгороде состоял подневольным советником губернского правления; в «Былом и думах» дана характеристика этого «довольно простого и добродушного генерала, очень армейской наружности, небольшого роста и средних лет». Племянник Екатерины Александровны говорит, что за Зурова она вышла по любви. Умерла она 19 октября 1867 г., оставив Зурову трех детей.

Пушкину, конечно, была известна ее история, тем более, что семьи его и ее родителей жили в близком соседстве и имели немало общих знакомых. По словам Н. С. Маевского «Пушкин не был с нею знаком, но ходил, говорят, в церковь Покрова, что в Коломне, полюбоваться ею; там ее можно было видеть каждый воскресный и праздничный день». Во всяком случае ему была известна история ее первого брака.

Его сестра писала в январе 1836 г., из Петербурга, своему мужу об ее втором замужестве, которому удивлялась: «Побьюсь об заклад, что ее соблазнило имя: — шутит Ольга Сергеевна: — иначе как объяснить ее брак? Женщина сорока лет, богатая, независимая, имеющая двенадцатилетнюю дочь, — право, это смешно. Говорят, она все еще очень хороша, ее муж тоже богат»...²

Замысел «Евгения Онегина» (как и «Домика в Коломне») возник гораздо позже того времени, когда Пушкин жил в Коломне и ходил к Покрову, но впечатление, которое производила на него очаровательная графиня Стройновская, не затерялось бесследно в его душевном опыте, и в недрах своего благородного, истинно-братского сердца поэт сохранил прекрасный, трогательный образ, черты которого мы узнаем в самой любимой героине его поэзии.

¹ Им забавно воспользовался А. В. Сухово-Кобылин (в «Смерти Тарелкина» частный пристав Антиох Елпидифорович Ох). Впрочем Зуров был «бесспорно один из лучших губернаторов» (А. Д. Шумахер, «Поздние воспоминания» — «Вестн. Евр.» 1899 г., март, 119).

² «Пушкин и его соврем.», XXIII — XXIV, 209.

„ПРОРОК РОССИИ“

«Я пророк, ей-богу пророк!»

Пушкин.

(Письмо П. А. Плетневу, конец 1825 г.)

С стихотворением «Пророк» и первой встречей поэта и царя Николая I (8 сентября 1826 г.) связано интересное известие, до сих пор недостаточно взвешенное исследователями Пушкина. Оно сохранено для нас показаниями нескольких друзей и современников поэта.

С. П. Шевырев, оставивший весьма ценные по своей безупречной фактической правдивости воспоминания о Пушкине, в конце 1850 или в начале 1851 г. передавал,¹ «во время коронации государь послал за Пушкиным нарочного курьера (обо всем этом сам Пушкин рассказывал) везти его немедленно в Москву. Пушкин перед тем писал какое-то сочинение в возмутительном духе и теперь, воображая, что его везут не на добро, дорогой обдумывал далее² это сочинение; а между тем известно, какой прием сделал ему великодушный император; тотчас после этого Пушкин уничтожил свое возмутительное сочинение и более не поминал о нем».

Более подробные сведения сообщил в 1866 г. М. И. Семевский. «В тогдашнем обществе, принимавшем живейшее участие в судьбе своего любимца, ходили о Пушкине и о разговоре его с государем самые разноречивые, самые нелепые толки. Так, например, уверяли, будто бы государь в разговоре с Пушкиным пожелал

¹ «Пушкин», сборн. статей Л. Н. Майкова, СПб., 1899, стр. 329.

² Слова «далее» нет в цитированной статье Майкова; оно находится в подлиннике воспоминаний Шевырева (в Пушкинском Доме).

узнать, нет ли при нем какого-нибудь нового стихотворения. Тот будто бы вынул из сюртука несколько бумаг, впопыхах захваченных им при отъезде из Михайловского, перерыл их, но никакого нового стихотворения не нашел. Выходя из дворца и спускаясь по лестнице, Пушкин вдруг заметил на ступеньке лоскуток бумажки: подымает его и с ужасом будто бы узнает в нем собственноручное небольшое стихотворение к друзьям, сосланным в Сибирь. Он стал вспоминать, как оно попало сюда, и наконец вспомнил, что, подымаясь по той же лестнице, вынимал из кармана платок, причем будто бы и вывалился этот лоскуток бумажки, который мог наделать ему больших хлопот. Придя в гостиницу, Пушкин немедленно сжег это стихотворение. Вот один из рассказов того времени, который ходил в обществе и донныне передается многими из знакомых Александра Сергеевича; мы, разумеется, убеждены, что это не более, как басня, хотя и довольно характеристичная»¹.

Как будет видно из дальнейшего, рассказ, переданный Семеvским, совсем не басня, несмотря на некоторые неверные подробности; заметим кстати, что послание к изгнанным в Сибирь друзьям тогда еще не было написано. Однако не бывает, видно, дыма без огня, намек на декабристов здесь сделан не совсем зря. В следующем году С. А. Соболевский, посетив квартиру, в которой много лет тому назад (1826 — 1827 гг.) гостил у него Пушкин, и описывая ее в письме к М. П. Погодину,² вспомнил: «вот где он выронил (к счастью что не в кабинете императора) свое стихотворение на 14 декабря, что с час времени так его беспокоило, пока оно не нашлось».

В бумагах П. И. Бартенева, собиравшего в молодости сведения о Пушкине, нашлись недавно две любопытные записи,³ относящиеся к этому стихотворению.

¹ М. И. Семеvский, «Прогулка в Тригорское» — «С.-Петербург. Ведомости» 1866 г., № 163.

² Который поместил его в своей газете «Русский» 1867 г., л. 7—8, стр. 112.

³ «Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартенеvым в 1851—1860 годах». Вступит. статья и примечания М. Цяvловского, М., 1925, стр. 31, 34, 91—94.

Одно известие, глухое и сбивчивое, было сообщено П. В. Нащокиным. Он рассказал Бартеневу, что, когда к Пушкину в Михайловское приехал фельдъегерь, поэт «в это время сидел перед печкою, подбрасывал дров, грелся. Встревоженный и никак не ожидавший чего-либо благоприятного, он тотчас схватил свои бумаги и бросил в печь; тут погибли его записки и некоторые стихотворные пьесы, между прочим, стихотворение «Пророк», где предсказывались совершившиеся уже события 14 декабря». Тут же, на полях, Бартенев приписал со слов Соболевского: «Пророк приехал в Москву в бумажнике Пушкина». Таким образом мы окончательно удостоверяемся в двух важных подробностях: пьеса, написанная еще в Михайловском, была как-то связана с декабрьским возмущением, и поэт привез ее в Москву. Другая запись Бартенева содержит «Окончание Пророка»:

Восстань, восстань, пророк России,
В позорны ризы облекись,
Иди, и с вервием вокруг шеи (выи?)¹
К У. Г. явись (от Погодина, то же сообщил и Хомяков).

«Что-то очень оскорбительное для Николая I», — заметил М. Цявловский, — «заключают в себе слова, начинающиеся на «у» и «г» в записи Бартенева, если он их не решился записать даже в своей тетради. Не назвал ли Пушкин Николая I за казнь пяти декабристов «убийцей гнусным»?» — пытается догадаться М. Цявловский.

Есть еще одно сообщение, исходящее непосредственно от Хомякова. К сожалению, оно напечатано с пропуском, но этот пропуск быть может удастся восстановить, если уцелел подлинник письма Хомякова, который, познакомившись в 1859 г. со статьей Кохановской «Степной цветок на могилу Пушкина», где дано интересное истолкование «Пророка», писал И. С. Аксакову: «Пророк, бесспорно великолепнейшее произведение русской поэзии, получил свое значение, как вы

¹ Тут в «Рассказах о Пушкине» следует примечание редактора: «слово «выи?» в скобках приписано, кажется, рукой Соболевского».

знаёте, по милости цензуры (смешно, а правда)». К этим словам Хомяков сделал примечание: «первоначально пушкинский «Пророк» кончался четырьмя стихами политического содержания:

Восстань, восстань, пророк России,
В позорны ризы облекись,
Иди и с вервием вокруг выи
К... явись.

После свидания с императором Николаем Павловичем 8 сентября 1826 года Пушкин прекрасно заменил эту строфу нынешнею.¹

Текст четверостишия в передаче Хомякова вполне совпадает с бартеневскою записью. Извлечение из письма Хомякова было сообщено Кохановской. «Я не понимаю этого хорошенько», — писала И. С. Аксакову Кохановская,² — «не знаю, на какую «милость цензуры» указывает Алексей Степанович. Но О. Ф.,³ поясняя сама это место, говорит, что Пушкин написал или, то есть, создал «Пророка» в то время, когда его, опального, фельдъегерь мчал в телеге из деревни в Петербург (sic!). Неужели это смешно? И поэтическое величие «Пророка» не сказывается ли нам поразительно живее вместе с величием души поэта, который мог создать подобное произведение, — и в какое же время? Когда его, как преступника, мчат в тряской телеге на перекладных, и, бок-о-бок с поэтом, везет его солдат во всем отвратительном строе солдатской аммуниции: с пистолетом за поясом и с кожаную сумкой через плечо. А в душе поэта что совершается в это время?.. Если что может прибавить что-либо к величию «Пророка», то именно эта необычайная, странная, изумительная минута его создания!...»

Приведенная выше версия, сообщенная М. И. Семеvским, была впоследствии пересказана в редактированном П. А. Ефремовым очерке «А. С. Пушкин».¹

¹ Полн. собр. соч. А. С. Хомякова, т. VIII, «Письма», М., 1900, стр. 381 — 382.

² 22 ноября 1859 г. («Русс. Обзор» 1897 г., февр., 600—611).

³ Ольга Федоровна Кошелева (рожд. Скарятина), жена известного общественного деятеля и писателя.

⁴ «Русс. Стар.» 1880 г., янв., 133.

«Этот рассказ, — говорилось здесь, — ходивший тогда в кружке знакомых Пушкина, повторял впоследствии и близкий приятель Пушкина С. А. Соболевский, но повторял с некоторыми только вариантами. По его словам потеря листка с стихами сделана; листок отыскан не во дворце, а в собственной квартире Соболевского, куда Пушкин приехал из дворца; самый листок заключал «Пророка» с первоначальным, впоследствии измененным, текстом последней строфы:

Восстань, восстань, пророк России!
Позорной ризой облекись,
Иди — и с вервием на выи» и пр. . . .

Автор статьи, где сообщено это предание, причислил его к числу рассказов «сомнительной правдивости», что вызвало вскоре весьма интересное возражение А. П. Пятковского:¹ «Я не понимаю, почему рассказ об одном и том же обстоятельстве, повторяемый без особенного разноречия людьми, несомненно близкими к Пушкину (как, например, Соболевским), может заслужить себе аттестацию «сомнительной правдивости»: — разве только потому, что он позже других рассказов попал в печать, и что сам Пушкин не упоминает об интересующем нас обстоятельстве?.. Но это обстоятельство имеет настолько щекотливый характер, что разглашать его было вовсе неудобно как самому Пушкину, так и друзьям его, — тем более, что в это же время весьма бдительным аргусом возле великого поэта стал шеф жандармов Бенкендорф. . . Думаю, что ничем иным, кроме вынужденной скромности, нельзя объяснить и молчание Соболевского, который только «впоследствии», т. е. по смерти Пушкина, рассказывал об этом, да и то в тесном кругу. Что Соболевский не выдумал этого факта, — я могу лично подтвердить тем, что подобный же рассказ я слышал от А. В. Веневитинова (родного брата поэта Д. В. Веневитинова), который до преклонных лет отличался замечательною памятью и в особенности твердо помнил все то, что относилось к поре его молодости. А. В. Веневитинов рас-

¹ «Русс. Стар.», 1880 г., март, 673 — 675.

сказывал мне, что Пушкин, выезжая из деревни с фельдъегерем, положил себе в карман стихотворение «Пророк», которое в первоначальном виде оканчивалось следующей строфой:

Восстань, восстань, пророк России,
 Позорной ризой облекись,
 И с вервьем вокруг смиренной выи
 К царю..... явись.

(Последние два стиха составляют изменение и дополнение приведенного в «Русской старине» варианта). Являясь в Кремлевский дворец, Пушкин имел твердую решимость, в случае неблагоприятного исхода его объяснений с государем, вручить Николаю Павловичу на прощанье это стихотворение. Счастливая судьба сберегла для России певца «Евгения Онегина», и благосклонный прием государя заставил Пушкина позабыть о своем прежнем намерении. Поэтическое оружие, захваченное им для самозащиты, так и осталось в его кармане... Считаю нужным прибавить, в виде ручательства за правдивость этого рассказа, что А. В. Веневитинов был в это время в Москве, что Пушкин в доме Веневитиновых читал своего «Бориса Годунова», и что, следовательно, А. В. мог слышать всю эту историю из первых уст».

Тем не менее критика еще не пришла ни к какому единому выводу ни о правдивости этих сообщений,¹ ни о достоверности стихов, ни об отношении их к «Пророку». П. А. Ефремов в обоих первых своих изданиях² повторил рассказ Соболевского с полным доверием, но в третьем издании³ отказался внести даже в примечания это «плохое и неуместное четверостишие», которое «недостойно даже упоминания» рядом с «Пророком». П. О. Морозов, в первом своем издании⁴ также привел рассказ Пятковского с доверием к нему, во втором издании⁵ уже признал, что «предание, подхва-

¹ Один критик («Весы» 1909 г., июль, 95) прямо назвал «ни на чем не основанным» рассказ о потерянных и потом найденных поэтом стихах.

² 1880 г., II, 415 — 416, и 1882 г., II, 398.

³ Т. VIII, 1905 г., стр. 263.

⁴ Литературного фонда. 1887 г., II, 3.

⁵ Тов. Просвещения, 1903 г., II, 395.

ченное легковверными критиками, представляется по существу совершенно невероятным, не говоря уже о технической стороне четверостишия», а потом¹ выдвинул совершенно нелепое «предположение, что четверостишие было сочинено кем-нибудь (может быть Соболевским?) уже после появления «Пророка» в печати, — может быть даже как бы в ответ на «Стансы» («В надежде славы и добра»), в которых увидели покаяние поэта в прежних либеральных его грехах».

Впервые отрицательно отнесся к достоверности предания В. Д. Спасович,² дополнивший последний стих сообщенного Пятковским четверостишия: «К царю Российскому явись!»...

«Не имея права выезда из имения, Пушкин не мог и помышлять о том, что он вскоре предстанет перед лицом государя. Увезенный фельдъегерем, он не мог догадываться, что его повезут в Чудов дворец. Строфа, сохранившаяся в устном предании, не могла быть заключительною, так как она оставляет читателя в полном недоумении, зачем имел явиться и что имел сказать этот с вервьем на шее человек в своем, совсем необычном по нашему времени, costume и с своими весьма малопонятными библейскими речами? В данных условиях его поступок сильно походил бы на выходку помешанного. Вспомним еще, что либеральный бред прошел у Пушкина еще в то время, когда он писал «Сеятеля», что в январе 1826 г. он уже непременно желал помириться с правительством. Он не был заодно с декабристами, — он только скорбел о них. У него не могло быть в запасе никаких «жгучих глаголов», как скоро от милостивых слов государя он мгновенно раскаялся и сделался на остальную жизнь человеком не противным правительству».

Со Спасовичем согласился другой исследователь — Н. И. Черняев,³ не только отвергший предание о про-

¹ Соч. Пушкина, изд. Акад. Наук, т. IV, 1916 г., примеч., 301.

² «Байронизм у Пушкина и Лермонтова» — «Вестн. Европы» 1888 г., март, 83.

³ «Порок Пушкина в связи с его же Подражаниями Кофану», М., 1898 г., стр. 12 — 16.

исхождении четверостишия, но и разобравший его не без придирчивости. «Все эти рассказы, думается нам, принадлежат к бесчисленному множеству вымышленных о Пушкине анекдотов, долго гулявших на Руси и не раз вводящих в заблуждение комментаторов и биографов поэта. Можно ли допустить, чтобы такая гениальная вещь, как «Пророк», заканчивалась таким плохим и прозаическим финалом, как «Восстань, восстань, пророк России»... — финалом, достойным разве только какого-нибудь бесталанного подражателя Рылеева? Если прочесть четверостишие, о котором идет речь, немедленно вслед за «Пророком», оно произведет впечатление банального марша, пристегнутого к одной из лучших сонат или симфоний Бетховена, или безжизненной фигуры, вписанной в картину Рафаэля каким-нибудь живописных дел мастером... «Сонная кисть художника-варвара» чувствуется чуть ли не в каждом слове четверостишия... Двукратное повторение слова «восстань» после того как оно уже встречается в божьем воззвании к пророку, отзывается однообразием и риторикой, а обращение к неведомому пророку России, пристегнутое к рассказу пушкинского пророка, поражает своею неожиданностью и звучит диким и резким диссонансом, нарушающим гармоническую стройность всего стихотворения. «Позорной ризой облекись» — это такой стих, какого не мог написать не только Пушкин, но и ни один сколько-нибудь грамотный поэт. Зачем понадобилось напоминать «пророку России», что ему необходимо, отправляясь к царю, возложить на себя «позорную ризу», — неизвестно. Разве только для того, чтобы заручиться рифмой к слову «явись». Трудно (?) также понять, что надлежит понимать под выражением «позорная риза». Уж не рубище ли? Но почему же «пророк России» должен ходить непременно в разодранной одежде? Это тайна автора разбираемого четверостишия. Слово «иди», которым начинается третий стих, нимало не усиливает значение слова «явись» и, вообще, представляется совершенно излишним. Оно, очевидно, вставлено лишь для сохранения размера. Третий стих — «И с вервием на вые» («пророк России», вероятно, ждал казни за свои обли-

чительные речи и, в качестве политического мученика, желавшего пострадать за правду, заранее обрекал себя виселице), производящий, несмотря на весь его задор, несколько комичное впечатление, мог бы удовлетворить разве только завзятого «славеноросса», приверженного к высокому слогу во вкусе Шишкова и считавшего тяжким пиитическим грехом не называть веревку вервием, а шею выей. Вообще, заметим кстати, автор четверостишия пользовался славянскими речениями с таким пристрастием к ним, какого нет и тени в пушкинском «Пророке»... Содержание и форма четверостишия исключают всякую возможность допустить, что оно принадлежит Пушкину. К такому же выводу можно придти и путем критического отношения к связанному с ним преданию, на неправдоподобие которого впервые указал Спасович... Мнимый финал «Пророка», очевидно, нужно отнести к числу тех «сочинений» Пушкина, которые им никогда не писались, но которые настойчиво приписывались ему молвой».

Мнение Н. И. Черняева вызвало возражение Н. Ф. Сумцова:¹ «Н. Черняеву не понравились «позорная риза» и «вервие на вые» пророка России, что, однако, вовсе не так уж странно, если присмотреться к культурной истории России и вспомнить об участии Максима Грека, Крижанича, Новикова, Радищева, Рылеева, А. Одоевского, Пушкина, Лермонтова, Шевченко, Достоевского и мн. др. Редко кому приходилось избежать «вервия» в той или другой форме. И мы думаем, что «Восстань»... не было концом «Пророка» в отделанном и законченном виде, так как оно плохо вяжется со всем строем стихотворения и совсем непригодно после перерождения и получения божественного повеления жечь глаголами сердца людей. Хороши были бы глаголы — с веревкой на шее! Пушкин, при его уме, не мог допустить такого нелепого окончания в «Пророке». Но мы вместе с тем не можем согласиться с категорическим утверждением Черняева, что «содержание и форма четверостишия исключают всякую воз-

¹ «Исследования о поэзии Пушкина» — «Харьковский университетский сборник в память Пушкина», Хар., 1900, стр. 28, 192 — 193.

можность допустить, что оно принадлежит Пушкину». Совершенно наоборот. И по содержанию, и по форме это чисто-пушкинское стихотворение... Что касается до техники стиха, то и в этом отношении четверостишие имеет чисто-пушкинский характер... Мне кажется, что тут может быть двойное предположение: или Пушкин допустил окончание «Восстань»... в первоначальном черновом наброске «Пророка» и потом, при исправлении, отбросил его, как это он неоднократно делал в других своих стихотворениях, в интересах художественной цельности, широты и общего правдоподобия; устраняя личные, субъективные элементы, Пушкин тем самым расширял общечеловеческую сторону художественного образа; — или, что вероятнее, четверостишие представляет совершенно самостоятельный набросок, написанный вскоре после «Пророка», когда Пушкин под влиянием этого стихотворения имел склонность в самом себе видеть пророка, склонность, не выдохнувшуюся в нем и впоследствии, как видно из его «Памятника». Понятно, что это был набросок для себя и никоим образом для печати или для публики, и не для поднесения императору Николаю Павловичу, которому такое стихотворение легко могло не понравиться, что Пушкин должен был отлично понимать».

Едва ли стоит говорить о достоинствах или недостатках четверостишия, переданного современниками по памяти, так что, например, третий стих имеет два варианта: «Иди — и с вервием на выи»... и «И с вервьем вокруг смиренной выи»...; последний, по верному замечанию Ефремова,¹ «даже трудно выговорить». Мы должны думать, что стихи дошли до нас в искаженном виде, быть может очень далеко по форме от подлинника. Нам предстоит решить более важный вопрос, — как относиться к преданию, окружающему четверостишие и самую пьесу, с которою его связывают. Ни с совершенным игнорированием четверостишия, будто бы ложно приписанного Пушкину, ни с включением его в «Пророк» согласиться нельзя. Из всех высказанных

¹ Сочинения Пушкина, т. V, 1881 г., стр. 537.

по этому поводу мнений наиболее веским и близким к истине нам представляется мнение Сумцова, готового видеть в четверостишии «совершенно самостоятельный набросок». В самом деле, не опороченным ни одним серьезным доводом показаниям ряда современников Пушкина и близких ему людей мы не имеем права не доверять; единственное допустимое в этом случае ограничение доверия к их рассказам — это предположение, что передатчики нам этих рассказов (Семевский, Бартенев, Пятковский) кое-что сообщили неверно, причем надо заметить, что в виду краткости и несложности самого факта, это отступление от того, что сообщили им друзья Пушкина, не могло, конечно, быть значительно.

Все приведенные данные, дошедшие до нас, взаимно дополняя друг друга, рисуют следующий эпизод. Когда поэта везли в Москву, он, не зная наверняка, что его ждет: получит ли он желанную свободу, или, напротив, подвергнется еще горшим гонениям, и приходя в отчаяние за свою судьбу, слагал какое-то, быть может начатое уже раньше, стихотворение, «возмутительное сочинение», которое после свидания с государем уничтожил, так как заключавшийся в нем протест уже не вязался с новым поворотом в жизни поэта. В этом стихотворении, насколько можно судить по особенно выдающимся и поэтому вероятно наименее измененным памятью рассказчиков местам, он сравнивал себя с пророком, стоящим пред царем с веревкой на шее и, значит, ждущим помилования или казни. Известно, как принял он известие о казни пяти декабристов, как тревожила его воображение виселица, на которой повисли пять деятелей свободы «с вервием на вые»; не раз он рисовал эту виселицу с пятью качающимися трупами.¹ Утверждение Спасовича: «Пушкин не мог и помышлять, что скоро предстанет перед лицом государя, неосновательно. Уже из внезапного появления фельдъегеря; из того, что в Пскове, куда сначала привез его фельдъегерь из Михайловского, он нашел «весьма любезную» официальную бумагу начальника главного штаба

¹ См. ниже, «Заметки на полях», II («Странное сближение»).

И. И. Дибича, которая его сразу успокоила; ¹ из того, что Дибич в своем отношении от 31 августа на имя псковского губернатора ² писал, что поэт «по прибытии в Москву имеет явиться прямо к дежурному генералу главного штаба Е. И. В.»; из самого факта отправления в Москву, где тогда происходили коронационные торжества, Пушкин не мог не понять, кто им интересуется; конечно, поэту было известно, какое деятельное личное участие принимал царь в следствии по делу декабристов. Наконец, его не могли не взволновать и неслыханная, сверхфельдъегерская быстрота, с которой его примчали в трое суток из Пскова в Москву, ³ и то, что по приезде туда он до представления царю не был отпущен на свободу, а задержан при канцелярии дежурного генерала. ⁴ Поэт, как известно, заключил с правительством компромисс, от которого, правда, давно был не прочь, но в ожидании этой сделки, полагаясь всецело на произвол судьбы и готовясь принять все, что она ни пошлет, колебался между компромиссом и ролью, хотя чисто пассивной, пророка, униженно стоящего в одежде по́зора и с веревкой на шее перед торжествующим властелином. С характером Пушкина не вяжется театрально-эффектное вручение царю стихов о проверке с веревкой на шее. Поэт мог отождествлять себя в поэтическом воображении с гонимым пророком, но, как человек трезвый и самолюбивый, конечно, никогда не решился бы вручить царю подобные стихи и, разыграв напыщенную, театральную сцену, поставить себя в положение не то что небезопасное, а просто смешное. Стихи, вернее, предназначались, в случае неблагоприятного результата свидания, для хождения по рукам в качестве «сочиненья, зревшего печать». В общей достоверности показаний нескольких современников Пушкина мы не имеем права сомневаться, противопоставить их рассказам нечего.

¹ См. письмо Пушкина к П. А. Осиповой 4 сентября 1826 г.

² «Письма Пушкина и к Пушкину», сборн. В. Я. Брюсова, М., 1903, стр. 32; П. В. Анненков, «А. С. Пушкин в Александровскую эпоху», СПб., 1874, стр. 321.

³ «Русс. Стар.» 1908 г., октябрь, 117 — 118.

⁴ Анненков, «П. в Александровскую эпоху», 324.

Остается без ответа, за отсутствием точных документальных данных, которые одни могли бы иметь здесь решающее значение, удачно сформулированный Сумцовым вопрос об отношении четверостишия «Восстань». . . к «Пророку». Быть может это были две разные пьесы, между которыми единственная общая черта — образ пророка, и именно эта общность могла слиться в памяти лиц, сообщениями которых мы пользуемся, обе пьесы в одно целое, расчлененное самим художником. Возможно, что из одних и тех же образов возникли и гордый пророк, преображенный десницей серафима и послушный лишь высшей воле, и смиренный пророк с веревкой на шее и в ризе позора. Во всяком случае ясно, что было какое-то «возмутительное сочинение» Пушкина о пророке, и что оно вполне сложилось в душе поэта в начале сентября 1826 г. Чутье не обмануло В. Я. Стоюнина,¹ признавшего четверостишие принадлежащим Пушкину; того же мнения и В. В. Сиповский,² который считает его заключительной строфой «Пророка», хотя и неудачно пристроенной. Отождествление пророка с самим поэтом, которое составляет сущность дошедшего до нас четверостишия, косвенно усиливает значение тех толкований «Пророка», наиболее веских и убедительных (Мицкевич, Анненков, Кохановская, Аполлон Григорьев, Страхов, Незеленов, В. Никольский, Влад. Соловьев, Дашкевич), которые объясняют эту пьесу как исповедание призвания поэта.

До нас не дошел автограф «Пророка», которого Пушкин читал своим московским друзьям³ и напечатал в том виде, в каком мы его знаем, лишь года через полтора.⁴ Но Погодин после смерти Пушкина спрашивал кн. П. А. Вяземского, целы ли бумаги поэта, и сохра-

¹ «Пушкин», СПб., 1881, стр. 286 — 287.

² «Пушкин. Жизнь и творчество», СПб., 1907, стр. 255, 263.

³ На них он, по свидетельству М. П. Погодина («Русс. Арх.» 1865 г., изд. 2-ое, ст. 1253), «после «Бориса Годунова» произвел наибольшее действие».

⁴ В «Московск. Вестнике» 1828 г., ч. VII, № 3, стр. 269 — 270,

нился ли в них «Пророк». ¹ Очевидно, он интересовался не общеизвестным «Пророком» и надеялся, что не пропали те когда-то им слышанные стихи, которые так занимают здесь нас.

В них Пушкин изобразил себя политическим пророком, «пророком России», но, когда Николай I протянул ему «царственную руку», и он поверил (потому что был уже заранее готов поверить), что царь почтил в нем вдохновенье и освободил его мысль, он перестал думать об этой роли, повернул в другую сторону и увидел пред собою иной идеал пророка — этико-эстетический.

¹ Соч. и письма Пушкина, изд. «Просвещение», т. II, 1903 г., стр. 500. Забавно, что опубликовал эти строки тот самый П. О. Морозов, которому принадлежит приведенное выше курьезное предположение о происхождении стихов «Восстань»...

РАСПУТАННОЕ НЕДОРАЗУМЕНИЕ

(Из истории одной дружбы)

Когда вышли в свет «Цыганы» (1827 г.), князь П. А. Вяземский, первостепенный критик двадцатых годов, приветствовал в «Московском телеграфе» поэму как «лучшее пока без сомнения создание Пушкина», увидел в ней «залог новых сил», указал на влияние Байрона и высказал рядом с весьма хвалебными замечаниями несколько не совсем одобрительных, но, как всегда у Вяземского, вполне соответствовавших не только дружеским отношениям его к Пушкину, но и условиям «светской общежительности».¹ Например, Вяземский находил, что Алеко, который «сделался цыганом из любви к Земфире и из ненависти к обществу», не следовало бы водить медведя: «лучше бы предоставить ему барышничать и цыганить лошадьми»... «Не хотелось бы видеть в поэме один вялый стих, который бог знает как в нее вошел. После погребения двух несчастных жертв Алеко

медленно склонился
И с камня на траву свалился...»

Прошло около полувека, и в 1875 г., готовя к печати собрание своих сочинений, Вяземский снабдил статью о «Цыганах» любопытной припиской,² в которой коснулся своих отношений к Пушкину и, как мы пытаемся

¹ Заметки Вяземского на полях «Цыган», изд. 1827 г., напечатаны с подлинника, хранящегося в госуд. Публичной Библиотеке, П. О. Морозовым (Сочин. П., изд. «Просвещения», III, 628—629). Некоторыми из них Вяземский воспользовался в своей статье.

² Сочин. Вяземского, I, 321—325.

показать, обнаружил добросовестное непонимание натуры поэта и набросил на его память незаслуженную тень.

«Разбор поэмы Пушкина — рассказывает Вяземский — навлек или мог бы навлечь облачко на мои светлые с ним сношения. О том я долго не догадывался и узнал случайно, гораздо позднее. Александр Алексеевич Муханов, общий приятель наш, сказал мне однажды, что из слов, слышанных им от Пушкина, убедился он, что поэт не совсем доволен отзывом моим о поэме его. Точных слов не помню, но смысл их следующий: что я не везде с должною внимательностью обращался к нему, а иногда с каким-то учительским авторитетом; что иные мои замечания отзываются слишком прозаическим взглядом, и т. д. Помнится мне, что Пушкин был особенно недоволен замечанием моим о стихах «медленно склонился и с камня на траву свалился». Признаюсь, и ныне не люблю я «травы» и «свалился». Между тем Пушкин сам ничего не говорил мне о своем неудовольствии: напротив, помнится мне, даже благодарил меня за статью. Как бы то ни было, взаимные отношения наши оставались самыми дружественными. Он молчал, молчал и я, опасаясь дать словам Муханова вид сплетни, за которую Пушкин мог бы рассердиться. Но и не признавал я надобности привести в ясность этот сомнительный вопрос. Мог я думать, что Пушкин или забыл, или изменил свое первоначальное впечатление, но Пушкин не был забывчив. В то самое время, когда между нами все обстояло благополучно, Пушкин однажды спрашивает меня в упор: может ли он напечатать следующую эпиграмму:

О чем, прозаик, ты хлопчешь?

Полагая, что вопрос его относится до цензуры, отвечаю, что не предвижу никакого со стороны ее препятствия. Между тем замечаю, что при этих словах моих лицо его вдруг вспыхнуло и озарилось краской, обычной в нем приметой какого-нибудь смущения или внутреннего сознания в неловкости положения своего. Впрочем, и тут я, так сказать, пропустил или проглядел краску его, не дал себе в ней отчета. Тем

дело кончилось. Уже после смерти Пушкина как-то припомнилась мне вся эта сцена: загадка нечаянно сама разгадалась предо мною, ларчик сам раскрылся; я понял, что этот «прозаик» — я; что Пушкин, легко оскорблявшийся, оскорбился некоторыми замечками в моей статье и, наконец, хотел узнать от меня, не оскорблюсь ли я сам напечатанием эпиграммы, которая сорвалась с пера его против меня. Досада его, что я, в невинности своей, не понял нападения, бросила в жар лицо его. Он не имел духа прямо объясниться со мною; на меня нашла какая-то голубиная чистота или куриная слепота, которая не давала мне уловить и разглядеть «словеса лукавствия». Таким образом гром не грянул, и облачко пронеслось мимо нас, не разразившись над нами. Когда я одумался и прозрел, было поздно. Бедного Пушкина уже не было налицо.

Пушкин был вообще простодушен, уживчив и снисходителен, даже иногда с излишеством. По характеру моему я был более туг, несговорчив, неподатлив. Это различие между нами приводило нас нередко к разногласию и к прениям, если не к спорам. Подобные прения касались скорее и более всего до литературных вопросов и литературных личностей. В этом отношении я был более Альцестом, он — Филинтом («Мизантроп» Мольера). В литературных отношениях и сношениях я не входил ни в какие уступки, ни в какие сделки: я держался того мнения, что в литературе, то есть в убеждениях, правилах литературных, добрая, то есть явная, ссора лучше худого, то есть недобросовестного, мира. Он, пока самого его не заденут, более был склонен мирволить и часто мирволил.¹ Натура Пушкина была более открыта к сочувствиям, нежели к отвращениям. В нем было более любви, нежели негодования; более благоразумной терпимости и здоровой оценки действительности и необходимости, нежели своенравного враждебного увлечения... При всем добросердечии своем он был

¹ «Зачем глупцов ты задеваешь?»

Не раз мне Пушкин говорил...
и т. д. (Сочин. Вяземского, XI, 412).

довольно злопамятен, и не столько по врожденному свойству и влечению, сколько по расчету; он, так сказать, вменял себе в обязанность, поставил себе за правило помнить зло и не отпускать должникам своим. Кто был в долгу у него, или кого почитал он, что в долгу, тот, рано или поздно, расплачивался с ним, волею или неволею. Для подмоги памяти своей он держался в этом отношении бухгалтерского порядка: он вел письменный счет своим должникам, настоящим или предполагаемым; он выжидал только случая, когда удобнее взыскать недоимку. Он не спешил взысканием; но отметка «должен» не стиралась с имени, но Дамоклов меч не снимался с повинной головы, пока приговор его не был приведен в исполнение. Это буквально было так. На лоскутках бумаги были записаны у него некоторые имена, ожидавшие очереди своей: иногда были уже заранее заготовлены при них отметки, как и когда взыскать долг, значившийся за тем или другим. Вероятно так и мое имя было записано на подобном роковом лоскутке, и взыскание с меня было совершено известною эпиграммою. Таковы по крайней мере — оговаривается Вяземский — мои догадки, основанные на вышеприведенных обстоятельствах.

В подобной же приписке (1876 г.) к старой статье об И. И. Дмитриеве Вяземский¹ рассказывает: «Пушкин в жизни обыкновенной, ежедневной, в сношениях житейских был непомерно добросердечен и простосердечен. Но умом при некоторых обстоятельствах бывал он злопамятен, не только в отношении к недоброжелателям, но и к посторонним и даже к приятелям своим. Он, так сказать, строго держал в памяти своей бухгалтерскую книгу, в которую вносил имена этих должников своих и долги, которые считал за ними. В помощь памяти своей он даже существенно и материально записывал имена этих должников на лоскутках бумаги, которые я сам видал у него. Это его тешило. Рано или поздно, иногда совершенно случайно, взыскивал он свой долг и взыскивал с лихвою. В сочинениях его найдешь много следов и свидетельств подоб-

¹ Сочин., I, 159 — 160.

ных взысканий. Царапины, нанесенные ему с умыслом или без умысла, не скоро заживали у него... Помню, что однажды, в пылу спора, сказал я ему: «да ты, кажется, завидуешь Дмитриеву». Пушкин тут зардел как маков цвет; с выражением глубокого упрека взглянул на меня и протяжно, будто отчеканивая каждое слово, сказал: «как, я завидую Дмитриеву?» Спор наш этим и кончился, то есть на этот раз, и разговор перешел к другим предметам, как будто ни в чем не бывало. Но я уверен, что он никогда не забывал и не прощал мне моей неуместной выходки. Если хорошенько порыться в оставленных им по себе бумагах, то, вероятно, найдется где-нибудь имя мое с припискою: *debet*. Нет сомнения, что вспышка моя была оскорбительна и несправедлива».

По тому самому определению эпиграммы, которое дано Пушкиным в стихотворении «Прозаик и поэт», и по всему эпиграмматическому наследию Пушкина, видно, как метка была пушкинская эпиграмма, в особенности такая, в которой сам поэт видел акт литературной мести. Пушкинская эпиграмма всегда была прямо в цель. Можно поверить, что Пушкин не всем был доволен в лестной для него вообще статье Вяземского о «Цыганах», не со всем мог согласиться.¹ но гневаться ему было не на что и мстить не за что. Захоти Пушкин отплатить за обиду, отплата была бы ясно ощутительна, далеко не так туманна. Вот вся пьеса, в которой Вяземский прочитал упрек себе:

О чем, прозаик, ты хлопчешь?
 Давай мне мысль какую хочешь:
 Ее с конца я заострю,
 Летучей рифмой оперю,

¹ По словам Кс. Полевого («Московск. Талегр.» 1829 г., ч. 27, № 10), Белинского («Молва» 1836 г., № 8, и Сочин. Б., изд. Венгеров. III, 33 — 34), критику, осуждавшему стих: «И с камня на траву свалился», Пушкин сказал: «я должен был так выразиться, я не мог иначе выразиться»... По поводу разборов «Цыган» он сказал М. П. Погодину: «Ах, какую рецензию написал бы я на своих Цыган!» — «Он видимо досадовал» — прибавляет Погодин, — «что читатели не понимают, а он сам не может раскрыть им свои цели» (Л. Майков, «Пушкин», СПб., 1899, стр. 349).

Вложу на тетиву тугую,
Послушный лук согну в дугу,
А там пошлю наудалую,
И горе нашему врагу!

Со статьей Вяземского стихотворение ничего общего не имеет. Если думать, что Пушкин оскорбился ею и написал в отместку эпиграмму на Вяземского, то приходится допустить, что не только ему изменило обычное остроумие, но даже не хватило ума на достойный ответ, так как Вяземский вовсе не «хлопочет» о неумении Пушкина выражать мысли. К тому же Пушкин признавал за Вяземским именно талант эпиграмматиста и величал его:¹

Язвительный поэт, остряк замысловатый,
И блеском (колких слов), и шутками богатый,
Счастливый Вяземский, — завидую тебе.
Ты право получил благодаря судьбе
Смеяться весело над злобою ревнивой,
Невежество разить анафемой игривой...

Пушкин находил, что Вяземский «сочетал с глубоким чувством разум верный и точный ум»...² (Недаром арзамасцы звали его «Асмодеем».) С таким взглядом на Вяземского не вяжется характеристика «прозаика», который не в силах отточить острым словом и ловко метнуть злую мысль.

Недоразумение объясняется просто. Пушкин считал Вяземского прозаиком (в лучшем смысле слова) *par excellence*. В 1822 г. он писал Вяземскому: «если ты к прозе привяжешься не на шутку, то нельзя не поздравить европейскую Россию... образуй наш метафизический язык, зарожденный в твоих письмах». В одном письме к нему, 1825 г., Пушкин хвалит его «слог живой и оригинальный».³ Зная, что Пушкин смотрит на него преимущественно как на прозаика, Вяземский в «прозаике» эпиграммы вздумал узнать себя. В Вяземском отнюдь не было того «простосердечия и добросердечия», которые являлись такими пленительными сто-

¹ 1822 г., см. Сочин. П., изд. Венгерова, II, 155.

² 1826—1827 гг. см. Сочин. П., изд. Венгерова, II, 422.

³ См. также наши «Новооткрытые страницы Пушкина», СПб., 1909, стр. 7—8, и Соч. П., изд. Венгерова, IV, прим. № 486.

ронами природы Пушкина: это был характер подозрительный и тяжелый. Услышав от Муханова, что Пушкин недоволен «прозаическим взглядом» некоторых замечаний в статье о «Цыганах», Вяземский решил, что Пушкин оскорблен и намерен отомстить, и в невинном вопросе Пушкина, «может ли он печатать пьесу», т. е. стоит ли, в самом деле не опасно ли в цензурном отношении, и т. п., Вяземскому послышался замаскированный упрек. Почему Пушкин покраснел, услышав ответ Вяземского, что со стороны цензуры он не предвидит препятствий? Может быть потому, что ждал от Вяземского того или иного мнения о стихотворении и его слова о цензуре принял за уклонение от обычной дружеской откровенности? Во всяком случае со статьей о «Цыганах» пьеса в его уме не могла вязаться, и вообще в ней не видно личного элемента или случайного повода: она имеет в виду основное различие между медлительным прозаическим и крылатым поэтическим словом.

Как раз вскоре после появления статьи Вяземского Пушкин писал (31 августа 1827 г.) издававшему «Московский вестник» Погодину, что в «Московском телеграфе» «хороши одни статьи Вяземского, но зато за одну статью Вяземского в «Телеграфе» отдам три дельные статьи «Московского вестника». Его критика поверхностна или несправедлива, но образ его побочных мыслей и их выражения резко оригинальны; он мыслит, сѣрдит и заставляет мыслить и смеяться: важное достоинство, особенно для журналиста!» Лукавство Вяземского, его вечное «себе на уме», конечно, не ускользало от внимания Пушкина. В своей «Исповеди»¹ (1829 г.) Вяземский писал: «мне известно, что в последний проезд мой в Петербург было донесено правительству слово, будто сказанное обо мне Александром Пушкиным: «вот приехал мой демон!» Это не сказано Пушкиным или сказано, да не так. Он не мог придавать этим словам ни политический, ни нравственный смысл, а разве просто шуточный, если только и произнес их. Они не в духе Пушкина, ни в моем; по сердцу своему

¹ Сочин. Вяземского, II, 97 — 98,

он ни в каком случае не скажет предательского слова. По свойству ума, если и мог бы он быть под чьим-нибудь влиянием, то не хотел бы в том сознаться. Я же ничьим, а еще менее Пушкинским, соблазнителем быть не могу». Если слова о «демонe» были сказаны даже в шутку, то в ней была немалая доля правды. Вяземский всегда умел влиять на Пушкина; в 1836 г. Пушкин принял участие в его доносе Уварову на современную журналистику.¹ Пушкин мог ошибаться, но лукавства в нем не было, и сцена, описанная Вяземским в рассказе о «Прозаике и поэте», не в духе Пушкина. Он всегда откровенно выражал свои мнения Вяземскому и о Вяземском. Барон Е. Ф. Розен² передает неодобрительный отзыв Пушкина о послании Вяземского к Каченовскому, но Пушкин сам писал Вяземскому (1822 г.): «бранюсь с тобою за послание к Каченовскому»... и т. д. Не таков был Вяземский. Через много лет после смерти Пушкина, перечитывая «Евгения Онегина» и встретив стихи (гл. 5, стр. III):

Другой поэт роскошным слогом
Живописал нам первый снег
И все оттенки зимних нег.
Он вас пленит, я в том уверен,
Рисуя в пламенных стихах
Прогулки тайные в снях, —

Вяземский приписал на полях: «Пушкин тут подтрунивает надо мною и над моим «Первым снегом».³ Эту настороженность Вяземского в отношении к Пушкину тонко подметила умница А. О. Смирнова, которая в 1855 г. рассказывала поэту Я. П. Полонскому: «Никого не знала я умнее Пушкина. Ни Жуковский, ни кн. Вяземский спорить с ним не могли, — бывало забьет их совершенно. Вяземский, которому очень не хотелось, чтобы Пушкин был его умнее, надуется и уж мол-

¹ Там же, 211 — 226. В 1828 г. Булгарин писал В. А. Ушакову: «Пушкин, кажется, полюбил меня, хотя по правилам сектатора Вяземского меня не должно ему любить» («Русс. Стар.» 1909, ноябрь, 350).

² «Ссылка на мертвых» — «Сын Отечества» 1847 г., кн. VI, отд. III, стр. 16, 18, 28.

³ «Русс. Архив» 1887 г., III, 577.

чит, а Жуковский смеется: «Ты, брат Пушкин, чорт тебя знает, какой ты, — ведь вот я чувствую, что вздор говоришь, а переспорить тебя не умею, так ты нас обоих в дураки и записываешь». ¹ В сентябре 1831 г., услышав о стихах Пушкина и Жуковского на польское восстание, Вяземский написал было в письме к Пушкину несколько горьких слов о Жуковском, но раздумал послать их и внес в свой дневник признание: «мне хотелось здесь оцарапнуть и Пушкина, который также, сказывают, написал стихи». ² Весьма характерно и самое желание «оцарапнуть» друга, и то, что желание это явилось у Вяземского еще раньше, чем он познакомился со стихами Пушкина.

Но вот строго-фактический довод, окончательно решающий недоразумение и показывающий, как неосновательно было подозрение, которое Вяземский питал десятки лет. Напечатав пьесу «Прозаик и поэт» в 1827 г., ³ Пушкин затем включил ее в сборник своих стихотворений. ⁴ Там указан и год ее написания — 1825-й, когда еще не появлялись «Цыганы», и не было статьи Вяземского. Последний упустил из виду это обстоятельство, — иначе он, конечно, расстался бы со своим подозрением, столь неосновательным во всех отношениях, обидным для памяти Пушкина ⁵ и находящим себе объяснение лишь в особых свойствах не в меру осмотровительной дружбы Вяземского. Допустить же, что Пушкин, всегда чрезвычайно точный в датировании своих произведений, нарочно поместил пьесу под 1825 годом, чтобы затемнить связь ее со статьей Вяземского о «Цыганах», значило бы навязать эпиграмме так не идущий ей смысл, обвинить поэта в малодушии и, словом, зайти в неосновательных и оскорбительных предположениях дальше самого Вяземского.

¹ «Голос Минувшего» 1917 г., № 11 — 12, стр. 154.

² Соч. Вяземского, IX, 155 — 156.

³ «Московский Вестник», ч. I, № 4, стр. 252.

⁴ «Стихотворения Александра Пушкина», ч. II, 1829 г., стр. 28.

⁵ Легенда нашла некоторый кредит у издателей Пушкина (Л. Поливанова, П. Морозова). «Даже лучший друг князя Вяземского — Пушкин разразился на него в «Московском Вестнике» эпиграмму под заглавием «Поэт и Прозаик» (Н. Барсуков, «Жизнь и труды М. П. Погодина», II, 116).

ПУШКИН И ГРИБОЕДОВ

Для Пушкина знакомство с Грибоедовым было событием, и он не забыл, в каком году они встретились (1817), но, несомненно, оба они и раньше знали друг о друге. Пушкин сидел еще на школьной скамье, когда Грибоедов хвалил Чаадаеву, еще не знавшему Пушкина лично, его оду на возвращение Александра I из Парижа.¹ «Его меланхолический характер», — писал впоследствии Пушкин, — «его озлобленный ум, его добродушие, самые слабости и пороки, неизбежные спутники человечества, все в нем было необыкновенно привлекательно». Грибоедов еще не был тогда автором «Горя от ума», но Пушкин понял, какие в нем таятся возможности, и один из первых, с обычной своею проницательностью, разгадал в нем человека замечательного. В том же 1817 г. Грибоедов вместе с П. А. Катениным написал сатирическую комедию «Студент», в которой не только досталось друзьям Пушкина, Батюшкову, Жуковскому, Карамзину, но был задет и сам Пушкин насмешкой над «пленительными мелодиями певцов своей печали»: это был слишком прозрачный намек на недавно напечатанную чувствительную элегию Пушкина «Певец». В том, что пылкий, самолюбивый юноша оставил насмешку без отместки, нельзя не видеть доказательство его глубокого уважения к Грибоедову,² и если между ними не завязалась дружба, то этому ме-

¹ «Русс. Арх.» 1888 г., II, 305.

² «Никто не щадивший для красного словца, Пушкин никогда не затрогивал Грибоедова; встречаясь в обществе, они разменивались шутками, остротами, но не сходились столь коротко, как, повидимому, должны были бы сойтись два одинаково талантливые, умные и образованные человека» («Русс. Стар.» 1874 г., май 160 — 161, «А С. Грибоедов»).

шали только те черты характера Грибоедова, которые отметил Пушкин, — его меланхолия и озлобленность ума. Связь их скрепляли, разумеется, и общие друзья — Каверин, Чаадаев, Кюхельбекер, Никита Всеволожский (у последнего собирались члены кружка «Зеленая Лампа», которому быть может не чужд был и Грибоедов). Должен был импонировать юному Пушкину и его холодный дендизм, под которым таились «пылкие страсти». В литературной борьбе они занимали тогда места в разных лагерях: Пушкин принадлежал к новаторам-карамзинистам, а Грибоедов примыкал к консерваторам, группировавшимся вокруг А. С. Шишкова, но обоих их нельзя заключить всецело в партийные границы, и замечательно, что они сходились в симпатии к староверу П. А. Катенину. Ему Грибоедов считал себя обязанным «зрелостью, объемом и даже оригинальностью дарования», а Пушкин писал ему: «ты отучил меня от односторонности в литературных мнениях, а односторонность есть пагуба мысли».

В 1818 г. Пушкин и Грибоедов расстались. Один уехал на восток, другой через два года попал на юг. Пушкин продолжал интересоваться Грибоедовым. В 1823 г. в Одессе до него дошел первый слух о «Горе от ума», и он раздраженно спрашивал кн. П. А. Вяземского: «что такое Грибоедов? Мне сказывали, что он написал комедию на Чаадаева; в теперешних обстоятельствах это чрезвычайно благородно с его стороны». Чаадаев был тогда в опале, и Пушкина возмущало нападение на беззащитного. В этих словах Пушкина впервые закреплено долго не погасавшее в литературе предание о том, что прототипом Чацкого был Чаадаев. Через полтора года Пушкин мог, впрочем, сам проверить, насколько правильно это сближение. В 1824 г. он просил Вяземского прислать ему одну полемическую эпиграмму Грибоедова. В январе 1825 г. его навестил, уже в Михайловском, И. И. Пущин и привез ему долгожданное «Горе от ума». По словам Пущина, Пушкин «был очень доволен этою, тогда рукописною, комедией, до того почти ему незнакомою; после обеда, за чашкою кофе, он начал читать ее вслух, но жаль, что не припомню метких его замечаний, которые, впрочем, потом

частью явились в печати. Вскоре Пушкин написал о впечатлении, произведенном на него «Горем от ума», своему брату, Вяземскому и А. А. Бестужеву.

Не станем приводить этих отзывов Пушкина: они слишком общеизвестны. Напомним лишь читателю давно сбывшееся пророчество Пушкина, что половина стихов станет пословицами; сам Пушкин, заметим вскользь, обратил в пословицу упрек Фамусова Чацкому: «Эх, Александр Андреич, дурно, брат!»¹ Фигура Загорецкого так ему понравилась, что он воспользовался ею для обрисовки своего Зарецкого в «Онегине», и сходство в именах здесь вовсе не случайно. Стоит остановиться на недостаточно еще разъясненном суждении Пушкина, что умен в комедии сам Грибоедов, а «Чацкий совсем не умный человек, — все, что говорит он, очень умно, но кому говорит он все это? ... Первый признак умного человека — с первого взгляду знать, с кем имеешь дело, и не метать бисера перед Репетилковыми и тому подоб.». Это мнение, сильно повлиявшее на некоторую часть критики (Белинский, Вяземский, Гоголь), может быть принято лишь с известными ограничениями. В ту пору, когда Пушкин высказал его, он находился в фазисе разочарования и скептицизма, и ему показалась смешна горячая экспансивность Чацкого, в котором он увидел что-то вроде своего Ленского, наивного и незрелого юношу. Сам охлажденный умом, но еще не характером, Пушкин упустил из виду, что ум и житейский такт не одно и то же, и что бесспорно-умным людям, в особенности молодым и пылким, часто не хватает такта. Вдумчивый Огарев, почти свидетель эпохи, по крайней мере заставший в живых многих современников Грибоедова и Чацкого, хорошо объяснил, что Чацкий именно таков и должен был быть, что он представлен «исторически верно», что он «стоит в рядах энтузиастов», а энтузиазм не любит таить свои убеждения. «Чацкий чувствует себя самостоятельным врагом порядка вещей своего времени, он высказывает свои убеждения Фамусову потому, что они оскорбляют Фамусова, а ему

¹ «Пушкин и его соврем.», XXI — XXII, 96.

надо оскорблять Фамусовых, и тогда дело становится не только исторически верным, но и лично для Чацкого естественным». ¹ Горячо вступился, против Пушкина, за Чацкого Аполлон Григорьев, ² который первый признал за ним героическое значение: «Пушкин провозгласил его неумным человеком, но ведь героизма-то он у него не отнял, да и не мог отнять. В уме его, т. е. практичности ума людей закалки Чацкого, он мог разочароваться, но ведь не переставал же он никогда сочувствовать энергии падших борцов. «Бог помочь вам, друзья мои!» писал он к ним, отыскивая их сердцем всюду, даже в мрачных пропастях земли».

Прошел год. Пушкин все еще сидел в своем Михайловском, а Грибоедов, привлеченный к следствию по делу о декабристах, был привезен с Кавказа в Петербург и содержался под арестом на гауптвахте при главном штабе. С гауптвахты он однажды писал Булгарину, снабжавшему его книгами, чтобы он прислал ему недавно вышедшие в свет «Стихотворения Александра Пушкина», первый сборник, изданный поэтом. В конце 1826 г., уже из Тифлиса Грибоедов пишет одному приятелю, чтобы тот попросил Чаадаева и Каверина прислать ему копию «Бориса Годунова», а несколько месяцев спустя, прочитав в «Московск. Вестнике» напечатанный там отрывок из трагедии (сцена в келье Чудова монастыря), пишет Булгарину, что ему «нравится Пимен-старец, а юноша Григорий говорит как сам автор, вовсе не языком тех времен», и жалуется на «повесу Льва Пушкина», приехавшего тогда на Кавказ и не привезшего с собою «братнина манускрипта». Трагедию Пушкина тогда знали лишь немногие, которым читал ее сам Пушкин, а остальные завидовали этим первым слушателям.

В начале весны 1828 г. Грибоедов приехал в Петербург и застал здесь Пушкина, которого не видел почти

¹ Н. П. Огарев, «Предисловие» к сборн. «Русская потаенная литература XIX столетия», отд. I, часть 1, Лондон, 1861, стр. LIV—LV.

² «Горе от ума Грибоедова» («Время» 1862 г., № 8; переизд. В. Саводником в Соч. Ап. Григорьева, вып. 5-й, М., 1915, стр. 12).

десять лет. Тут он услышал наконец «Бориса Годунова», в чтении самого автора, в доме графини Лаваль, тут он теснее прежнего сблизился с Пушкиным. В одном письме своем (написанном — странное совпадение! — 30 января 1829 г., в самый день гибели Грибоедова) Пушкин сохранил для нас мнение Грибоедова о характере выведенного в «Борисе Годунове» патриарха Иова: «он был действительно человек очень умный, а я по невниманию сделал из него глупца». Тогда же Пушкин сказал Ксенофону Полевому о Грибоедове: «это один из самых умных людей в России, любопытно послушать его».¹ Встречались они этой весной часто. Имя Грибоедова мы находим в числе участников дружеской пирушки, на которую звал в мае Пушкина Вяземский, — это приглашение «читал Пушкин и лапку приложил». Бывал тогда в их кругу и Мицкевич; бывал и Глинка, которому Грибоедов сообщил грузинский мотив, так понравившийся Пушкину, что он написал для музыки Глинки романс «Не пой, красавица, при мне», одно из самых задушевных своих лирических излияний. Общий друг Грибоедова и Пушкина, Кюхельбекер, томившийся тогда в Динабургской крепости, не зная, что они встречаются, но подозревая это, решил их «друг другу сосводничать» и написал общее письмо к обоим «любезным друзьям и братьям, поэтам Александрам». Скоро они расстались. Грибоедов, вспоминая потом Пушкин, «был печален и имел странные предчувствия». Это было в начале июня 1828 г.

С тех пор им уже не суждено было увидеться. Несколько месяцев спустя Грибоедов погиб в Персии. Вскоре после его кончины Пушкин, встретившись с одним писателем, сказал ему, что собирается в Грузию.

— О, боже мой! — воскликнул тот: — не говорите мне о поездке в Грузию. Этот край может назваться врагом нашей литературы. Он лишил нас Грибоедова.

— Так что же? — ответил Пушкин. — Ведь Грибоедов сделал свое. Он уже написал «Горе от ума».²

¹ К. А. Полевой, «О жизни и сочинениях А. С. Грибоедова» (во 2-м изд. «Горя от ума», 1839 г.).

² В. А. Ушаков («Московск. Телеграф» 1830 г., XII, 515).

Этими словами Пушкин правильно определил Грибоедова как homo unius libri. В самом деле только в этой комедии право Грибоедова на бессмертие.

Одна московская барышня тоже сказала Пушкину по поводу затеянной им поездки на восток:

— Ах, не ездите: там убили Грибоедова!

— Будьте покойны, сударыня, — отвечал поэт. — Неужели в одном году убьют двух Александров Сергеевичей? Будет и одного! ¹

По дороге на Кавказ, в начале мая, Пушкин побывал в Орле у старого полководца А. П. Ермолова, который знал Грибоедова; конечно они говорили о Грибоедове, но что именно, Пушкин не передал (несомненно по цензурным условиям) и записал лишь отзыв язвительного старика о форме стихов Грибоедова. 11 июня, уже в Закавказьи, вблизи укрепления Гергеры, Пушкин неожиданно встретил тело Грибоедова, которое везли из Тегерана в Тифлис. Слишком памятливы грустные строки, которые внушила Пушкину эта встреча.

В следующем году «Литературная Газета», деятельным членом редакции которой был Пушкин, поместила элегию декабриста А. И. Одоевского на смерть Грибоедова и эпиграмму Вяземского на Булгарина, который без зазрения совести хвастался, «что был с Чацким всех дружнее».

Часто мелькают у Пушкина воспоминания о Грибоедове и отголоски «Горя от ума». В 1831 г., собираясь жениться, он мечтал «зажить припеваючи, независимо и не думая о том, что скажет Марья Алексевна». В статье о сочинениях Катенина он сочувственно вспомнил, как вступился Грибоедов за его балладу «Ольга», которую несправедливо порицал Гнедич. Весьма заметно влияние «Горя от ума» в описании Москвы в 7-й главе «Онегина», — здесь Пушкину достались готовыми некоторые типы, впервые подмеченные Грибоедовым. В 6-ю главу «Онегина» вставлены слова Чацкого: «И вот общественное мнение!», а в числе эпиграфов к 7-й главе приведена еще одна цитата из «Горя

¹ «Русс. Арх.» 1901, III, 298.

от ума». В черновых бумагах Пушкина,¹ относящихся к 1835 г., записан стих из комедии Грибоедова: «О, Байроне и о предметах важных» (слова Репетилова, тоже вероятно намеченные в качестве какого-нибудь эпиграфа). В «Мыслях на дороге» Пушкин изобразил по «Горю от ума» старую Москву, «грибоедовскую Москву», уже отошедшую в область преданий. Самого Грибоедова Пушкин намерен был вывести в задуманном, но не осуществленном большом романе, который должен был представить широкую картину русского общества 20-х годов («Русский Пелам»). В библиотеке Пушкина² дошли до нас первое издание «Горя от ума» (1833 г.) и «Воспоминание о незабвенном А. С. Грибоедове» Булгарина (оттиск из «Сына Отечества» 1830 г.).

Интересным следом взаимных отношений обоих поэтов является набросанный Пушкиным в одной черновой тетради³ (Румянц. музей № 2369, л. 34 об.) профиль Грибоедова. Исследователи⁴ давно уже обратили внимание на него. Набросок находится на полях черновых стихов, относящихся к 2-й главе «Онегина» (строфа XXI), написанной еще в Одессе в 1823 — 1824 гг., но надо думать, что Пушкин покрыл поля этой страницы рисунками впоследствии, пересматривая свои старые бумаги. Профиль Грибоедова мы встречаем у него еще раз, среди множества других лиц, набросанных им в 1826 г. на большом листе, который долго хранился в семье его друзей Осиповых и Вульф.⁵ Здесь этот профиль занимает место среди профилей декабристов, и тут же Пушкин изобразил самого себя (единственный известный до сих пор автопортрет его в 3/4), два лица на этом листе напоминают два лица, изображенные ниже портрета Грибоедова на

¹ Румянц. музей, № 2386-Б, л. 1 («Русс. Стар.» 1884, дек. 534).

² «Пушкин и его соврем.» IX — X, 16, 32.

³ Румянц. муз., № 2369, л. 34 об.

⁴ Д. Н. Анчин, «А. С. Пушкин. Антропологический эскиз», М., 1899, стр. 40, ст. 3; Г. П. Георгиевский («Русс. Вестн.» 1899, июнь, 398). Воспроизведение всей этой страницы было помещено впервые в журн. «Голос Жизни» 1915 г. № 18 стр. 17.

⁵ Воспроизв. в «Искрах» (прилож. к газ. «Русское Слово») 1913 г., № 36.

полях черновой «Онегина». Пушкин, как известно, не раз сравнивал свою судьбу с судьбою декабристов. «И я бы мог, как шут»... печально приписал он на своем рисунке, где изображена петропавловская виселица с пятью повешенными. Теперь он представил себя в ливрее придворного арапа, с пелериной и в токе с пером. Нам кажется, что этот рисунок набросан тогда, когда уже определился компромисс поэта с правительством, и что Пушкин здесь горько посмеялся над самим собою. В такую минуту он вспомнил о декабристах и о Грибоедове, который в его глазах был, если не юридически, то идейно, одним из «людей 14 декабря».

«Прекрасной» смерти Грибоедова, «посреди неровного боя», Пушкин позавидовал, и несколько лет спустя судьба послала ему самому столь же грозный конец. Обоих великих поэтов до сих пор оплакивает Россия, но раньше всех их оплакивали общие друзья. Когда не стало Пушкина, у гробницы Грибоедова, в Тифлисе, сыльный Бестужев¹ горько рыдал о погибших «Александре и Александре» (сам он, третий поэт Александр, тоже пал месяца три спустя), а в далекой Сибири Кюхельбекер² вспоминал о Пушкине и других безвременно почивших братьях-поэтах:

Он ныне с нашим Дельвигом пирует,
Он ныне с Грибоедовым моим!
По ним, по ним душа моя тоскует,
Я жадно руки простираю к ним...

¹ «Отечеств. Записки» 1860 г., июнь, 71.

² «19 октября 1837» («Собрание стихотворений декабристов», Лейпциг, 1862, стр. 146).

ЗАТЕРЯЧНЫЙ РАССКАЗ ПУШКИНА

Через пять лет после смерти Пушкина в Россию приехал молодой (ему тогда было тридцать три года) француз Ксавье Мармье, поэт, новеллист и ученый. Русская интеллигенция, внимательно следившая за литературной жизнью Запада, давно его знала по его стихам, статьям о немецкой и скандинавской литературе, по его живым и колоритным путевым очеркам. Это был один из самых пытливых и чутких людей в тогдашней Франции. «Чужих небес любовник беспокойный», Мармье много путешествовал и старался в своих отчетах знакомить соотечественников с культурами, а в особенности с литературами чужих стран, популяризовал и переводил заграничных авторов. Прожил он долго (умер в 1892 г.), изъездил чуть не весь мир и оставил несколько десятков книг — описаний путешествий, мемуаров, стихов, романов. В своей стране он играл роль вроде той, какую в Германии играл Фарнгаген-фон-Энзе, этот всеми признанный «консул чужих литератур», в том числе и нашей, среди немцев.

В 1842 г. Мармье посетил Россию. Здесь о нем, как сказано, уже знали. Одна его статья, о Гофмане, была напечатана когда-то в русском переводе.¹ В библиотеке

¹ «Телескоп» 1833 г., № 4. — В наших журналах 30 — 40-х годов переводились отрывки из описаний путешествий Мармье. И впоследствии появлялись русские переводы из Мармье — например историч. рассказ «Эрик XIV» («Историч. Вестн.» 1889 г., № 9 — 10), ирландская сказка «Мертвец» («Труд» 1895 г., № 2). Несколько стихотворений его и статью «О северной народной поэзии» перевел харьковский литератор С. Л. Геевский, но эти переводы остались в рукописи (Н. Ф. Сумцов, «С. Л. Геевский» — «Харьковск. Сборник», вып. IV, прилож. к Харьковск.

Пушкина уцелели до сих пор две его книги.¹ Таким образом у нас ему предшествовала некоторая известность, да были, несомненно, русские люди, лично встречавшиеся с ним за границей. Предварительно он посетил Финляндию, и в мае 1842 г. с ним познакомился в Гельсингфорсе Я. К. Грот, занимавший в тамошнем университете кафедру русской литературы. Гроту приезжий очень понравился: «скромность, откровенность, простодушие и основательность ума... умный мальчик», писал Грот² своему другу Плетневу, тому самому Плетневу, который был так близок и дорог Пушкину, и которому Пушкин посвятил «Евгения Онегина».

Вскоре Мармье в Петербурге, а затем и в Москве. Грот сводит его с П. А. Плетневым, а тот представляет его А. О. Смирновой. Мы встречаем его в обществе кн. В. Ф. Одоевского, Гоголя, поэтессы графини Е. П. Растопчиной, кн. П. А. Вяземского. Он прилежно изучает Россию. Кн. В. Ф. Одоевский читает ему выдержки из сахаровских «Сказаний русского народа», и он от них «без ума».³ В Москве он знакомится с Н. Ф. Павловым, С. П. Шевыревым, А. С. Хомяковым, П. Я. Чаадаевым, с которым беседует о русском крестьянском вопросе по поводу недавно появившейся в «Москвитянине» и наделавшей шуму статьи Хомякова «О сельских условиях».⁴ Герцен, недавно вернувшийся в Москву из Новгорода и не заставший уже там Мармье, записывает в своем дневнике, что в Москве «принялись было его образовывать в славянофильство, предложили ему исследовать все превосходство пра-

календарю на 1890 г., стр. 67, 69). Сам Мармье тоже переводил русских авторов: «Les perceneiges Nouvelles du Nord», Р., 1854; «Au bord de la Neva. Contes russes» Р. 1856 («Герой нашего времени» Лермонтова, «Шинель» Гоголя, «Аптекарьша» гр. В. А. Сологуба).

¹ «Études sur Goethe», Р., 1835, и французский перевод «Руководства к истории германской национальной литературы» Коберштейна («Пушкин и его современники», IX—X, 262—263, 282).

² Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, I, 527—528, 533, 547, 549—550, 560.

³ П. Н. Сакулин, «Из истории русского идеализма. Кн. В. Ф. Одоевский». т. I, ч. 2, М., 1913, стр. 317—318.

⁴ Кн. Н. В. Голицын, «П. Я. Чаадаев и Е. А. Свербеева» («Вестн. Европы» 1918 г., янв.—апр., 238, 241).

вославия над католицизмом... Затаскали его до того, что ему наконец опротивели монахи, похвалы древнего быта и т. п.»¹ Плетневу сам Мармье говорил, что «в восхищении от Москвы и тамошних литераторов». Вскоре он уехал в Европу, и статьи его, появившиеся во Франции, вызвали в наших славянофильских кругах живой отголосок, нас, впрочем, здесь не занимающий.²

Из этих статей и дорожных заметок Мармье вскоре составил очень интересную для европейских читателей, выдающуюся своей объективностью и добросовестностью книгу «Lettres sur la Russie, la Finlande et la Pologne», Р., 1843.³ Больше всего места в ней уделено России, и несколько десятков страниц отведено русской литературе. Но не на этих страницах, а в другом месте книги⁴ встречается то упоминание о Пушкине, которое представляет для нас особенный интерес.

В Москве Мармье, в сопровождении известного филантропа доктора Ф. П. Гааза, посетил пересыльную тюрьму, где содержались арестанты, предназначенные к ссылке в Сибирь. Среди них были помещичьи крестьяне, ссылаемые исключительно по воле своих господ. Из этой практики барского произвола Мармье сообщает два потрясающие случая и один из них связывает с именем Пушкина. «Поэт Пушкин рассказывал, — передает Мармье, — что однажды встретил на Тобольской дороге, среди преступников, приговоренных к ссылке за кражи и убийства, ангельски милую и прекрасную молодую девушку. Несчастная некоторое время служила, в качестве рабыни, удовольствиям

¹ А. И. Герцен. Полн. собр. сочин. и писем. Под ред. М. К. Лемма, т. III, 35 — 36.

² См. кое-какие подробности в переписке кн. П. А. Вяземского с А. И. Тургеневым («Остафьевский архив кн. Вяземских», т. IV). В «Современнике» 1843 г., т. XXIX, появилось стихотворение Мармье «Auprès de Valatschok il est un lac limpide»... (перепеч. в «Трудах» Я. К. Грота, I, СПб., 1898, стр. 265 — 267).

³ Познакомившись с этой книгой, А. В. Никитенко писал в своем дневнике («Моя повесть о самом себе», изд. 2-е, т. I, стр. 341): «вообще замечания Мармье верны; очевидно, он писал со слов кого-нибудь хорошо знающего Россию».

⁴ Цитир. по 2-му изданию, Р., 1851, р. 215 — 216.

своего султана, а затем позволила себе увлечься другим. Этот человек быть может на коленях вымаливал у нее слово любви, которого другой повелительно требовал, и теперь она шла в Сибирь, чтобы искупить в изгнании один час нежного самозабвения. Бедное дитя, говорил Пушкин, привыкшее в течение нескольких лет ко всем наслаждениям богатства и к утонченной роскоши, страдало гораздо больше своих товарищей от трудностей долгого пути. Тело ее было в ушибах от тряски в телеге, и она жалела, что у нее не было перчаток, чтобы защитить руки от палящего солнца. Однако среди этих страданий она нисколько не раскаивалась, что поддалась увлечению, говорила с уничтожающим презрением о том, кто поработил ее своею господскою властью, и с радостью уносила на окраину России воспоминание о том, которого любила».

Пушкин в этом рассказе, нисколько не расходящемся со всем, что ему случалось говорить о крепостном праве, имел в виду ту сторону крепостнического быта, которой когда-то коснулся в «Деревне»:

Здесь девы юные цветут
Для прихоти развратного злодея.

Таким развратником представил он старика Троекурова в «Дубровском».

Вращаясь в России среди людей близких Пушкину, Мармье несомненно слышал приведенный рассказ из уст кого-нибудь из друзей поэта. За достоверность передачи ручается и общая добросовестность путевых очерков Мармье, в которых никто из тогдашних русских читателей не усмотрел никаких искажений. К тому же Мармье не полагался на одну лишь память и записывал немедленно все, что видел и слышал. Ожидая его возвращения из Москвы, Плетнев писал Гроту: «мы дня два с ним запремся работать для его заметок». ¹ В долгих беседах с Плетневым, Вяземским ² и другими друзьями Пушкина, имя великого поэта упоминалось, конечно, не раз, и смешать «поэта Пушкина» с кем-

¹ Переписка Грота с Плетневым, I, 550.

² Marmier, op. c., 330 — 332, 341 — 345.

нибудь иным Мармье не мог. Да и слышал он о Пушкине, несомненно, гораздо больше, чем запомнил и записал.¹ Подавно не может быть речи о мистификации: для Мармье рассказанный Пушкиным случай был не более, как простой иллюстрацией положения русских крепостных крестьян, которую он привел мимоходом, не придавая особого значения тому, что рассказан он был именно Пушкиным. Чем был «рассказ Пушкина»? Литературным замыслом или случаем из действительной жизни, который был рассказан Пушкиным по какому-нибудь поводу, рассказан так же просто, как передал его и Мармье? Не стоит искать ответа на этот вопрос.² У настоящего писателя, хотя бы и не пушкинского калибра, нет расстояния между автором и человеком. Это не литераторы, а поэты, и для них «жизнь и поэзия — одно». Мы читаем с наслаждением и напряженным вниманием, хотя можем по разному оценивать, и вполне зрелые художественные творения Пушкина, и его краткие, еле намеченные программы, и его письма, деловые или дружеские, никак им не предназначенные для целей искусства. Здесь все приемлемо, все значительно.

Чувствительно, манерно переданный французским писателем, но сам по себе трогательный рассказ о ссыльной девушке, тесно соприкасающийся со всем кругом мыслей и чувств, которые вызывало в Пушкине крепостное право, и нисколько не грешащий против русской действительности, мог и быть подлинным наблюдением поэта, мог и служить толчком к литературной работе. Возможно, что Пушкин не обработал этой темы потому, что не видел возможности благополучно миновать цензурные теснины. В начале

¹ К Пушкину Мармье возвращался потом не раз. Он перевел из Пушкина, между прочим, «Бахчисарайский Фонтан» (прозой), «Метель», «Выстрел», посвятил нашему поэту статью «Pouchkine et la littérature russe» в «Revue Britannique» 1859 г., t. II. Mars, № 3, p. 111—134 (перепеч. в его «Voyages et littérature» P., 1862, p. 329—363); эта статья отмечена влиянием Герцена, которого он в ней много раз цитирует.

² См. весьма интересные соображения Л. Гроссмана об «устной новелле Пушкина» (Л. Гроссман, «Этюды о Пушкине», Пг., 1923).

20-х годов он хотел, передает П. В. Анненков, «написать комедию или драму потрясающего содержания, которые могли бы выставить в позорном свете безобразия крепостничества, а вместе с тем показать и темные стороны самого образованного общества нашего», но не осуществил своего намерения и набросал лишь прозаическую программу и несколько стихов.¹ Памятна судьба «Трех повестей» Н. Ф. Павлова, подвергшихся преследованию за протест против крепостного права в 1835 году. Но могла быть и совсем другая, чисто-психологическая причина, помешавшая рассказу получить законченное художественное оформление.

У нас есть уже целый рассказ Пушкина, переданный другим автором: «Уединенный домик на Васильевском строве», где Пушкину принадлежат «вымыслы и главная нить». Пушкин познакомил друзей со своим замыслом и затем охладел к нему и оттого так легко уступил его другому. Доколе творческий процесс не завершится вполне, писателю подобает молчание. И писатели это знают. Лев Толстой таил свои замыслы и не любил говорить о них. Однажды Микулич, создательница «Мимочки», рассказывала ему что-то очень ему понравившееся, «Стойте, стойте! — сказал Толстой: — не рассказывайте. Это надо написать. А расскажете, так уже не напишете».² Все плодовитые писатели отличаются этой осторожностью. Жуковский остановил молодого Дельвига, когда он стал передавать ему содержание задуманной поэмы: «берегите это сокровище в себе до дня его рождения», — «но день рождения не наступил»,³ вероятно потому не наступил, прибавим мы, что юный поэт не сумел последовать со-

¹ См. П. В. Анненков, «Пушкин в Александровскую эпоху», СПб., 1874, стр. 160 — 163; «Русс. Архив» 1881, I, 218 — 219; «Русс. Стар.» 1884, апрель, 98 — 99; мои примечания к Соч. Пушкина, изд. С. А. Венгерова, II, 586 — 587, № 312; А. С. Пушкин — В. Я. Брюсов, «Урок игроку. Комедия» («Сегодня», альманах 2-ой, М., 1927, стр. 111 — 125, с предисл. В. Я. Брюсова и М. А. Цявловского).

² В. Микулич, «Тени минувшего», СПб., 1914, стр. 69.

³ П. В. Анненков, «Материалы для биографии Пушкина», изд. 2-е, стр. 56.

вету старшего собрата. К. С. Аксаков читал знакомым еще не конченную свою драму. Ю. Ф. Самарин писал ему: «напрасно, кажется, ты читаешь ее, по мере того как она пишется... Лучше бы выдерживать и вынашивать в себе подолее».¹

Это относится, впрочем, не к одной литературе. Молчание до поры до времени помогает накоплению мыслей и сосредоточению воли и не дает деятелю бесплодно «перегореть» в быстро гаснущем слове.

С словами исчезает
Весь страсти пыл, и дело умирает, —

говорит устами одного из своих героев величайший знаток людей.² «Ангел благого молчания» покровительствует творчеству.

¹ Соч. Ю. Ф. Самарина, т. XII, М., 1911, стр. 191.

² Шекспир, «Макбет». — Старый живописец Чистяков однажды начал рассказывать: «а еще я давно задумал большую картину: Два Мира...», но тут же спохватился: «да нет, не расскажу, а то не напишу!» («П. П. Чистяков, Лг., 1928, стр. 64, О. Форш, «Художник-мудрец»).

ИСТОРИЯ „ПИКОВОЙ ДАМЫ“

I

Полный и окончательный текст «Пиковой дамы» не дошел до нас в подлинном автографе Пушкина. Уцелели только три отрывочные наброска. Первые два находятся в московском Румянцовском музее (театр № 2373, л. 15 и 18) и были напечатаны В. Е. Якушкиным,¹ а в более исправном виде М. О. Гершензоном;² в той же передаче воспроизводим их здесь, заключая в скобки зачеркнутые слова.

«(Года два) (Лет 5) Года 4 тому назад жил я (находясь в П. Б. и вел жизнь (очень) довольно беспорядочную. (В. П. Б.) собралось нас в П. Б. несколько молодых людей (независимых по состоянию) (связанных) недавно сближенных) между собою обстоятельствами. Мы вели жизнь довольно беспорядочную. Обедали у Андриэ без аппетита, пили без (завлечения) веселости, ездили к С. А. (без нужды) (чтобы позевать и) побесить (ее) бедную старуху своей притворной безразборчивостью; день убивали кое-как, а вечером по очереди собирались друг у друга (и до зари) (и всю ночь проводили за картами)».

Этому наброску предшествует эпиграф: «А в ненастные дни»... , которым и начинается первая глава «Пиковой дамы»; считаем нелишним пояснить, что Андриэ во времена Пушкина содержал в Петербурге модный ресторан, а С. А. — Софья Астафьевна (Евстафьевна), содержательница веселого дома; картину из быта такого учреждения набросал однажды

¹ «Русс. Стар.» 1884 г., авг., 323, 324.

² Соч. Пушкина, изд. Брокгауз-Ефрона, IV, 331.

Пушкин.¹ В первом наброске нет еще никакого намека на фабулу повести; видно только первоначальное намерение автора вести рассказ от первого лица, и даже от своего собственного, на что указывают передаваемые Пушкиным подробности той обстановки, в которой не раз случалось находиться ему самому. Музейная тетрадь, в которой записаны оба наброска, относится к началу тридцатых годов, а появилась «Пиковая дама» в «Библиотеке для чтения» 1834 г., т. II, № 3, отд. I, «Русская Словесность, Проза», стр. 109 — 140, с подписанным А. Никитенкой цензурным дозволением 31 января 1834 г. «Жизнь довольно беспорядочную» Пушкин вел в Петербурге, еще не женатый, летом 1828 г.,² года за четыре или пять до создания «Пиковой дамы».

¹ «Сводня грустно за столом»... (см. Сочин. Пушкина, изд. Брокгауз-Ефрона, т. II, стр. 464, и наши примечания в IV, т. стр. LXI — LXII); посетитель здесь тоже бесит сводню разборчивостью, как в приведенном прозаическом наброске («безразборчивостью» — несомненная обмолвка). До нас дошел любопытный, хотя, может быть, не во всех отношениях достоверный, рассказ друзей Пушкина, «как они бывало заходили к наипочтеннейшей Софье Евстафьевне провести остаток ночи с нее компаньонками. Александр Сергеевич бывало выберет интересный субъект и начинает расспрашивать о детстве и обо всей прежней жизни, потом усовещивает и уговаривает бросить блестящую компанию, заняться честным трудом, идти в услужение, потом даст деньги на выход и, таким образом, не одну жертву спас от гибели; а всего лучше, что благонравная Софья Евстафьевна жаловалась на поэта полиции, как на безнравственного человека, развращающего ее овечек. (Н. И. Куликов, «Пушкин и Нащокин» — «Русс. Стар.», 1881 г., август, 613). Полиция в эту сторону жизни поэта обыкновенно не вмешивалась. «Laissez le courir le monde, chercher des filles», советовал Бенкендорфу шпион в 1829 г. Женившись, он в этом отношении «совершенно переменялся к неопisanному огорчению Софьи Евстафьевны и кавалергардских шаромыжников» (письмо к М. О. Судинке 15 января 1832 г.). Сводня, изображенная Пушкиным в названном стихотворении, — не только бытовой тип, но, может быть, даже портрет этой самой Софьи Евстафьевны. В переписке Пушкина есть еще упоминания о ней (пис. Дельвигу от середины ноября 1828 г., пис. жене от 17 апреля 1834 г.). Знали ее А. А. Бестужев (1824 г. — сборн. «Памяти декабристов», изд. Акад. Наук, Лг., 1926, стр. 60), Белинский («Письма», II, 7 — 8, 35); о ней упоминает Достоевский в повести «Чужая жена и муж под кроватью» («Отеч. Зап.» 1848 г.).

² См. Сочин. Пушкина, изд. Брокгауз-Ефрона, т. V, стр. II — III, V, наши примеч. к №№ 536 и 540.

которую и по этим указаниям поэта, и по положению черновых набросков в рукописи приходится, без излишней и в данном случае невозможной точности, датировать приблизительно 1832 — 1833 гг.

Второй набросок уже несколько определяет характер главного героя. Приводим эти строки.

«Теперь позвольте мне покороче (ближе) познакомиться вас с героиней моей повести.

В одном из etc.

(Шарлота Миллер была четвертая дочь (обанкротившегося) обрусевшего немца). Отец ее был некогда купцом второй гильдии (потом учителем в кад. корп.), потом аптекарем, потом директором пансиона, наконец (журналистом) корректором в типографии, и умер оставив (жене) кой-какие долги (и несколько рукописей, касающихся ботаники) и довольно полное собрание бабочек и насекомых. Он был человек добрый (и честный) и имел много основательных сведений, которые ни к чему хорошему (его) не привели. (Вдова его, продав рукописи лавочнику) расплатилась с табачной лавочкой и стала (жить) кормиться с Шарлотою (трусами своих рук). Герман жил (с ними) на одном дворе с его вдовою, познакомился с Шарлотой, и скоро они полюбили друг друга, как только немцы могут еще любить в наше время.

Но в сей день, или справедливее etc. И когда милая немочка отдернула белую занавеску (окна своего), Герман не явился у своего васисдаса и не приветствовал ее обычной улыбкою.

Отец его, обрусевший немец, оставил ему после себя (60 тысяч капиталу) маленький капитал; Герман оставил их в ломбарде, не касаясь и процентов, а жил одним жалованьем.

Герман был твердо etc.»

При окончательной отделке повести, если только замысел Пушкина был с самого начала таков, каким он является в «Пиковой даме», Шарлота и роман Германа с нею, который, быть может, должен был предшествовать завязке сношений с графининой воспитанницей, исчезли. Остался только Герман, но с уже ясно намеченной чертой характера — твердостью; если он не

появляется у своего васисдаса с приветливой улыбкой Шарлоте, — это, верно, потому, что им уже овладела могучая страсть, и он уже завел интригу с Лизаветой Ивановной. Но о замысле повести и о ходе мыслей художника все-таки и по второму, более содержательному, наброску судить так же трудно, как и по первому, и мы можем только догадываться о соотношениях между приведенными набросками и окончательным текстом.

Третий набросок находился у И. Шляпкина;¹ он очень краток.

«Чекал. глазами отыскал Нарумова — как зовут вашего приятеля спрос Чек. у Нар.».

Очевидно, на выдержанного и холодного Чекалинского Германн должен был произвести при первом же своем появлении сильное впечатление. Человек, отмеченный страстью, не ускользнул от внимания опытного игрока и знатока людей.

При жизни Пушкина «Пиковая дама» была напечатана еще один раз. Автор включил ее в вышедшие летом того же 1834 г. «Повести, изданные Александром Пушкиным», стр. 187 — 247.² Текст в «Библиотеке для чтения» и в «Повестях» почти один и тот же; Пушкин, повидимому, пересмотрел текст для «Повестей», так как из VI главы исключена следовавшая в «Библ. для чтения» (стр. 137) после слов «они прошли ряд великолепных комнат, наполненных учтивыми официантами», и действительно лишняя фраза: «Все были полны народу». Есть еще несколько менее значительных поправок.

II

Хотя «Пиковая дама» появилась в «Библ. для чтен.» без полной подписи Пушкина, с одним инициалом

¹ Напечат. в его книге «Из неизданных бумаг А. С. Пушкина», СПб., 1903, стр. 93.

² Цензурное разрешение подписано 19 июля 1834 г. В. Семеновым; о цензуровании «Пиковой дамы» для этого издания см. письмо А. В. Никитенки к Пушкину (И. А. Шляпкин, «Из неизданных бумаг Пушкина», стр. 191). lib.pushkinskiydom.ru

Р. (Rouchkine), повторенным и в «Повестях»,¹ имя автора не осталось тайной для публики. Повесть сразу обратила на себя всеобщее внимание. «Моя Пиковая дама» — записал Пушкин в своем дневнике (7 апреля 1834 г.) — «в большой моде. Игроки контируют на тройку, семерку и туза». П. В. Анненков,² помнивший вызванное ею впечатление, писал, что она «произвела при появлении своем всеобщий говор и перечитывалась от пышных чертогов до скромных жилищ с одинаковым наслаждением. Общий успех этого легкого и фантастического рассказа особенно объясняется тем, что в повести Пушкина есть черты современных нравов, которые обозначены, по его обыкновению, чрезвычайно тонко и ясно». Когда появились «Повести», критик «Северной Пчелы»³ писал о «Пиковой даме»: «подробности этой повести превосходны: Герман замечателен по оригинальности характера; Лизавета Ивановна — живой портрет компаньенок наших старых знатных дам, рисованный с природы мастером, но в целом — важный недостаток, общий всем Повестям Белкина,⁴ недостаток идеи. Впрочем строгое суждение об этих повестях невозможно: они прикрыты эгидой имени Пушкина». «И очаровательностью изложения», — прибавляет редакционное примечание внизу страницы: — «мы не знаем в русской литературе повести, которая была бы написана так легко, приятно, правильно и отчетливо, как Пиковая дама». Отмечая появление «Повестей», анонимный критик «Библиотеки для чтения»⁵ упомянул, что «Пиковой дамой» Пушкин «украсил наш журнал еще в начале года». Де-

¹ Так же подписал Пушкин разбор «Истории Русского народа» Н. А. Полевого («Лит. Газ.» 1830 г., № 4), рецензию на две книги С.-Бева («Лит. Газ.» 1831 г., № 32), «Скупого рыцаря» («Современник» 1836 г., кн. I).

² «Материалы для биографии Пушкина», изд. 1855 г., стр. 394.

³ «Р. М.» (В. М. Строев) — в № 192, 27 августа 1834 г., стр. 767.

⁴ В «Повестях, изданных Александром Пушкиным» помещены, кроме «Пиковой дамы», две главы из «Арапа Петра Великого» и «Повести покойного Ивана Петровича Белкина».

⁵ 1834 г., т. VI (ценз. дозвол. 27 сентября), отд. VI, «Литерат. летопись», стр. 2.

нис Давыдов писал Н. М. Языкову: ¹ «Пушкинская повесть мне весьма понравилась». Особняком стоит мнение одного из недолголюбивавших Пушкина и плативших ему за открытое расположение тайным недоброжелательством братьев Языковых, Александра Михайловича, который писал В. Д. Комовскому: ² «Пушкин свою повесть плохо сладил».

Белинский, вообще не сумевший оценить по достоинству творчество Пушкина в прозе, упоминает о «Пиковой даме» несколько раз, то отделяясь от нее легковесным замечанием, что «Пушкин не имеет себе соперников в подобных родах сочинений», ³ то упоминая о ней вскользь, как об одном из признаков оживления и обогащения русской литературы в первой половине тридцатых годов и причисляя ее здесь, наряду с «Капитанской дочкой», к «лучшим повестям» Пушкина. ⁴ Яснее выразил Белинский свое мнение о «Пиковой даме», заканчивая обзор пушкинского творчества; ⁵ по его словам, это — «собственно не повесть, а мастерский рассказ. В ней удивительно верно очерчены старая графиня, ее воспитанница, их отношения и сильный, но демонически-эгоистический характер Германна. Собственно это не повесть, а анекдот: для повести содержание «Пиковой дамы» слишком исключительно и случайно. Но рассказ, повторяем, верх мастерства». Таким образом Белинский отдал предпочтение внешней стороне повести, не проникнув глубоко в ее сущность. Заслуживает упоминания беглый отзыв анонимного критика «Литературной Газеты» 1842 г., ⁶ который, говоря о фальшивых характерах героев Марлинского и Булгарина и о том, что в русской литературе мало

¹ 4 апреля (см. «Русс. Стар.» 1884 г., июль, 140; «Сочинения Д. В. Давыдова», изд. 1895 г., т. III, стр. 194).

² 21 апреля («Историч. Вестн.» 1883 г., декабрь, 539).

³ Рецензия на IX—XI томы посмертного издания сочинений Пушкина («Отечеств. Записки» 1841 г., т. XVII, № 8; Сочин. Белинского, изд. Венгерова, VI, 282).

⁴ Обзор «Русская литература в 1843 году» («Отечеств. Записки» 1844 г.; Сочин. Белинского, изд. Венгерова, VIII, 372).

⁵ «Отечеств. Записки» 1846 г.; Сочин. Белинского, изд. Солдатенкова, ч. VIII, М., 1860 г., стр. 698.

⁶ № 24, в рецензии на «Мертвые души».

«возвышенных, благородных, по крайней мере неко- мических образов», вспомнил, что «правда, с другой стороны перед нами возникают образы Татьяны, Германна». . . К. П. Зеленецкий в 1855 г.¹ обратил мимохо- дом внимание на обрисовку в повести «русского быта, русских нравов и характеров», и нашел, что это «ми- ниатюрное» произведение, в котором «прелестно очер- таны картины нашего светского быта», «тем не менее (sic!) грациозно и отличается благородством воззрения на жизнь». Небрежно отмахнулся от «Пиковой дамы» Чернышевский (1855 г.): «эта небольшая пьеса напи- сана прекрасно, но никто не припишет ей особенной важности». ² М. Н. Катков (1856 г.), ³ также не сумевший достаточно оценить прозу Пушкина, писал, что «рас- сказы его по большей части вялы и бесцветны», и, ставя «Пиковую даму» выше «Повестей Белкина», не находил в ней «особенного достоинства. Фигура Германна набро- сана бойко, но имеет только достоинство эскиза; вся повесть представляет два-три интересные положения, и только».

По-своему взглянувший вообще на пушкинское творчество, Аполлон Григорьев (1859 г.) нашел в «Пи- ковой даме» один из признаков победы «смирненного» психического и социального типа над «хищным». ⁴ «Эта поучительная для нас борьба — и в гениально-юноше- ском лепете Кавказского пленника, и в Алеко, и в Гирее,

¹ «О художественно-национальном значении произведений Пушкина» («Журн. Мин. Нар. Просвещ.» 1855 г., ч. LXXXV, отд. II, стр. 231, 232).

² «Очерки Гоголевского периода русской литературы» («Со- временник» 1855 г., № 12; Соч. Чернышевского, т. II, СПб., 1906, стр. 11). Можно поставить рядом с этим отзывом позднейший отзыв М. Е. Салтыкова, что живи Пушкин в иное время, он «не потратил бы себя на писание» этой повести, и что вообще «сущ- ность Пушкинского гения выразилась совсем не в Пиковых дамах», а в стремлениях к общечеловеческим идеалам» («Письма к тетеньке», письмо 11-ое).

³ Рецензия на анненковское издание сочинений Пушкина («Русс. Вест.» 1856 г.; «М. Н. Катков о Пушкине», М., 1900, стр. 72).

⁴ «Русское Слово» 1859 г. — «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина» и «И. С. Тургенев и его деятельность, по поводу романа «Дворянское Гнездо»; Сочин. Апол. Григорьева, I, 245, 259.

и в Онегине, и в ироническом, лихорадочном и вместе сухом тоне «Пиковой дамы», и в отношениях Ивана Петровича Белкина к мрачному Сильвио в повести «Выстрел». . . Леденящий иронический тон слышен во всем том, в чем Пушкин касался так называемого большого света, от «Пиковой дамы» до «Египетских ночей» и других отрывков». . .¹ Германна Апол. Григорьев еще дважды² сближает с Сильвио по «мрачной сосредоточенности» обоих. Оценка Аполлона Григорьева, в значительной степени верная, и односторонняя, и слишком неполна. Она, несомненно, повлияла на оценку, которую дал Германну Достоевский: «колоссальное лицо, необычайный, совершенно петербургский тип, тип из петербургского периода!» — и этому лицу так соответствует петербургское утро, «гнилое, сырое и туманное, казалось бы самое прозаическое на всем земном шаре» и вместе с тем «чуть ли не самое фантастическое в мире», и оба они, и этот петербургский лик, и этот петербургский фон, внушили гениальному художнику мысль о скором конце петербургского периода: «останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй, для красоты, бронзовый всадник на жарко дышащем загнанном коне». ³ Мережковский тонко определил связь Раскольникова («Преступление и наказание») с Германном.

Более полное истолкование повести дал Л. И. Поливанов в своем издании сочинений Пушкина.⁴ «Пиковая дама», — говорит он, — «производит впечатление не только верностью в изображении бытовых деталей, но и превышает все другие прозаические повести Пушкина своим психологическим анализом. Германн в этом отношении представляет портрет совсем нового рода. При всей простоте и обыкновенности внешней жизни этого расчетливого инженера, читатель видит, как ки-

¹ Повторено в статье о «Горе от ума» («Время» 1862 г., № 8; соч. Григорьева, изд. В. Ф. Саводника, вып. 5, М., 1915, стр. 9).

² Соч. Ап. Григорьева, I, 314, 357.

³ «Подросток», ч. I, гл. I. — Мысль Достоевского получила не столько развитие, сколько «разлитие» в статье Иванова-Разумника «Петербург» («Вершины», Пг., 1923).

⁴ Т. IV, изд. 2-е, 1895 г., стр. 588.

пит в нем пожирающая страсть, которую он подавляет всеми силами своего духа. Уже с первого появления его в рассказе читатель чувствует, что это лицо с надорванной душой, при общем взгляде на него отгаликивающее своею отчужденностью и замкнутостью в себе, но при более внимательном взгляде — достойное сострадания. Это лицо обещает будущие психологические этюды новейшего романа, которые составляют силу Достоевского. Недаром он так любил и высоко ценил эту повесть». ¹ Высоко ставил ее и Лев Толстой. «Это chef d'oeuvre», — говорил он в 1908 г.: — «так умеренно, верно, скромными средствами, ничего лишнего. Удивительно! Чудесно!» ²

Самая же обстоятельная и веская оценка повести в целом была дана лет двадцать тому назад М. О. Гершензоном. ³

«Скажу не обинуясь», — писал талантливый критик, — «что, на мой взгляд, «Пиковая дама» — одна из замечательнейших русских повестей, достойная быть поставленной рядом, если не выше, с такими перлами, как «Тамань» Лермонтова и «Казачи» Л. Толстого. Нельзя достаточно надивиться на эту сжатость, стремительность, сосредоточенность рассказа, на эту ясность линий и целомудрие слога, словом на недостижимую экономию средств, употребленных здесь поэтом для воплощения глубокой художественной идеи. Ни одной лишней черты, но всякая черта, как радиус, стремится к центру повествования; ни одного психологического описания, но все действие насыщено психологией; беспредельное напряжение сил, почти математическая художественная расчетливость — и ни малейшей нарочитости, но все течет естественно, как в самой жизни». Художественный замысел повести Гершензон метко определяет так: «соприкосновение души, определено

¹ См. беседу Достоевского с М. А. Поливановой («Запись о посещении Ф. М. Достоевского М. А. Поливановой (9 июня 1880 г.)» с объясн. Ив. Поливанова — «Голос Минувшего» 1923 г., № 3, стр. 31, 32 — 33).

² А. Б. Гольденвейзер, «Вблизи Толстого», т. I, М., 1922, стр. 217.

³ Статья о «Пиковой даме» в IV т. Соч. П., изд. Брокгауз-Ефрона; перепеч. в «Мудрости Пушкина», М., 1919.

настроенной, с соответствующим этому настроению элементом действительности. Вся грядущая драма Германна — его безумие и гибель — уже до начала действия заложена в его душе потенциально, но для того, чтобы она разразилась, нужен толчок извне, хотя бы самый незначительный». В последних словах заключается суть этого замечательного по глубине и тонкости анализа.

III

Л. П. Гроссман¹ указал, что «в основу рассказа о тайне графини положен старинный исторический анекдот о Калиостро. В жизнеописании знаменитого авантюриста имеется рассказ о том, как он безошибочно предсказал три номера для лотерейной игры. Из этого зерна пустила, видимо, свои ростки пушкинская новелла». Этот же критик увидел зародыш замысла «Пиковой дамы» в «Эликсире дьявола» Гофмана.² В. Гиппиус³ усмотрел здесь «образец влияния по контрасту: гофмановский герой выигрывает, увидев в червонной даме вдохновляющие его черты любимой Авроры». Н. П. Кашин⁴ нашел «не случайное совпадение» слов Германна об утроении капитала и назначенных ему графиней выигрышных тройки и семерки со стихами Ф. Глинки «Брачный пир Товия» (в «Альбоме Северных Муз» на 1828 г.): «Мало ль платы? Утроить, сын! усмерить»... Однако не следует забывать вообще «магическое» значение чисел три и семь. В повести Пушкина, как заметил один критик,⁵ «фантастическое и реальное не стоит рядом, как у немцев, а взаимно проникают друг друга и являются единым неделимым». Действительно у Гофмана фантазмагии всегда резко отграничены от действительности. «Пиковая дама», — писал Н. П. Огарев (1856 г.) Тургеневу, — «вся вертится на фантастической задаче, без нее не было

¹ «Этюды о Пушкине», Пг., 1923, стр. 68.

² «Гофман, Бальзак и Достоевский» («София» 1914 г., май, 96).

³ «Гоголь», Лг., 1924, стр. 56, 226.

⁴ «Пушк. и его соврем.», XXXI—XXXII, 33—34.

⁵ А. И. Кирпичников, «Очерки по истории новой русской литературы», т. II, изд. 2-е, М., 1903, стр. 52.

бы и повести, а в вашем «Фаусте» фантастическая сторона прилеплена, повесть может обойтись и без нее». ¹

«Пиковая дама» отмечена значительным влиянием не Гофманна, а другого европейского автора, который в тридцатых годах гораздо больше занимал Пушкина. Это — Бальзак, и произведение Бальзака, отразившееся в «Пиковой даме», — роман «Шагреновая кожа», имевший такой громкий успех в начале тридцатых годов (появился осенью 1831 г.). На Пушкина этот роман произвел значительное впечатление: собираясь писать «О новейших романах», Пушкин внес в список, весьма ограниченный притом, намеченных для этого произведений «Шагреновую кожу». ² Между романом Бальзака и повестью Пушкина заметно немало сходства и в фантастике сюжетов, и в характерах героев, и в положениях. Германн своей сухой, себялюбивой натурой очень напоминает Рафаэля, главного героя Бальзака. ³ Полина любит Рафаэля, — как Лиза любит Германна. Столетний старик-антиквар, владеющий таинственными знаниями, напоминает старую графиню, знающую тайну трех верных карт; он «видел беспутный двор регента», графиня тоже видела когда-то блистательный французский двор; он передает Рафаэлю волшебную кожу, как графиня передает Германну волшебную тайну. Как Рафаэль прячется в спальне графини Федоры, так Германн прячется в покоях старой графини. Обоими правит страсть: одним — любовь, другим — корысть. Глядя на спящую Федору, Рафаэль сначала хочет «пробудить в ней жалость, вырвать слезу у нее, никогда не плакавшей», — Германн заклинает графиню: «если что-нибудь человеческое билось когда-нибудь в груди вашей, то умоляю вас»... и т. д. Фабулистическая близость повести Пушкина к роману Бальзака так же не подлежит сомнению, как их стилистическая отдален-

¹ «Современник» 1913 г., июнь, 8.

² См. Сочин. Пушкина, изд. Брокгауз-Ефрона, т. V, № 1025.

³ Самое имя Германна, по довольно вероятному предположению Б. В. Томашевского («Письма Пушкина к Е. М. Хитрово», Лг., 1927, стр. 246), заимствовано Пушкиным из повести Бальзака «L'auberge rouge»: «его звали Германом, как зовут почти всех немцев, выводимых писателями», — «после этой фразы трудно предполагать бессознательное совпадение имен».

ность, и на обоих произведениях лежит печать поэзии игры, которую так сильно чувствовали оба писателя.

Тем клочком действительности, от соприкосновения с которым вспыхивает таящаяся в душе Германна страсть стяжания, является рассказ Томского о своей бабушке, рассказ, который иному «трезвому», не зараженному страстью человеку показался бы не выше любого святочного анекдота. Пушкин с чрезвычайным искусством изобразил падение искры в подготовленную к пожару душу. «Нормальные» слушатели, не подвергшие сомнению самого факта и, конечно, забывшие анекдот через пять минут, попытались истолковать его просто. Один из гостей, с излишним даже простодушием, свалил всё на случай, вероятно, думая, что Сен-Жермен дурачил бабушку, а по случайности ей выпали указанные им карты. Другой, обыкновеннейший пошляк, заподозрел, не сплутовала ли бабушка в игре. И только Германн сказал: «Сказка!» — но в этом слове уже слышится тоскливый вздох: «Ах, зачем это только сказка!» Еще немного, — и могучая страсть заставит воображение Германна претворить сказку в действительность. Как сильна страсть в душе Германна, как подавляет она в ней все остальные чувства, Пушкин умеет показать яркими приемами. Германн уже любит Лизавету Ивановну, но готов ради тайны волшебника, которая должна принести ему деньги, стать любовником отвратительной старухи, и, попав в дом графини, без малейшего колебания идет не в комнату Лизаветы Ивановны на назначенное свидание, а в кабинет, где, спокойный, с ровно бьющимся сердцем, ждет возвращения графини с бала. У этого человека, с «профилем Наполеона, а душой Мефистофеля», сильный характер; деньги нужны ему не ради самих денег, как Гарпагону или Скупому Рыцарю, а ради независимости, и он умеет сдерживать себя: с капиталом в ломбарде, он не поддается окружающим его соблазнам молодости и живет скромным офицерским жалованьем; игрок в душе, он не играет потому, что боится «жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее», и лишь тогда садится за зеленый стол, когда уверен в непреложной победе трех волшебных карт. В такой сильной душе

страсть вспыхивает с необычайной силой. Выбив Германна из нормальной колеи, она сразу переселяет его в мир призраков, но этот мир остается психологически так же естественным и гармоничным, как самая обыденная действительность, и события в нем разворачиваются естественно и ясно. Если графиня в галлюцинации внушает Германну, что он должен поставить три карты, одну за другою, и больше никогда не играть, то условия эти продиктованы рассказом Томского: именно они помогли отыгаться Чаплицкому. Если графиня велит Германну жениться на Лизавете Ивановне, то потому, что в душе Германна, как ни охвачена она страстью, все-таки живет любовь и жалость к оскорбленной девушке, — недаром во время их первого и последнего свидания он с такой ужасной откровенностью рассказывает ей все; он не сробеет ни перед каким преступлением, но лгать ей не может.¹

«Всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет», сказал давно уже Пушкин. «Нет правды на земле, но правды нет и выше». Общим эпитафием ко всей «Пиковой даме» Пушкин взял слова гадательной книги: «Пиковая дама означает тайную недоброжелательность». Здесь он выразил одну из самых горьких и самых любимых своих мыслей — о недоброжелательности судьбы, этой «злой обезьяны», к человеку, о «насмешке рока над землей». Карта оживает и ядовито усмехается Германну, — так оживает статуя Командора для Дон-Жуана, Медный Всадник для бедного Евгения. Германн хочет быть полным хозяином своего счастья и вмешивается в игру таинственных сил, — мало того, вмешивается как шуллер. Он хочет наверняка обыграть не только своих партнеров за зеленым столом, но и кое-кого посильнее. Умершая графиня, называя ему верные карты и прощая свою смерть, передает ему

¹ Психологически недопустимыми кажутся нам мысли с которыми Германн покидает на рассвете дом умершей графини. Думать о том, кто прокрадывался в спальню молодой красавицы шестьдесят лет назад, мог в данном случае автор, а не Германн, потрясенный «невозвратной потерей тайны, от которой ожидал обогащения». С таким настроением не вызжутся эти мысли, полные спокойной грусти. Именно здесь разгорается психоз Германна.

условие, поставленное самой судьбою: жениться на Лизавете Ивановне. Но он этого условия не хочет и не может соблюсти, потому что «две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе» В этом и обвинение, и оправдание несчастного Германна. «Насмешка рока»...

Аполлон Григорьев справедливо отнес Германна к тому психическому типу, к которому принадлежит герой «Выстрела» Сильвио. Эти люди — тяжкодумы; жизнь при всех условиях достается им нелегко; им чуждо светлое, вольное отношение к миру. Прямую противоположность им составляют такие люди, как сопоставленный в «Выстреле» с Сильвио счастливый и беззаботный граф. Тяжелую натуру Германна оттеняет такая же антитеза. Это — князь Павел Александрович Томский, рассказывающий анекдот о трех бабушкиных картах. Лаконизм и экономия художественных приемов Пушкина особенно сказались в тех немногих, но метких штрихах, которыми нарисована эта фигура. Пушкин отвел ему мало места, но ровно столько, сколько необходимо; «мазурочная болтовня» Томского, — несмотря на внешнее легкомыслие тонкого и пронизательного ума, более пронизательного, чем, вероятно, думает о себе сам этот непосредственно относящийся к жизни человек, — многое объясняет нам в Германне.

Всю силу освещения Пушкин сосредоточил на Германне и графине и их показал вполне. Остальные фигуры не выступают на первый план и освещены не так ярко. На авансцене борются судьба в лице графини — Пиковой дамы и дерзновенный человек — Германн. Прочим персонажам художественной экономией дано не больше места, чем нужно для обрисовки действий участников рокового поединка. Борьба последних — тот жгучий фокус, к которому тянутся все радиусы повести.

IV

«Графиня не имела злой души, но была своенравна как женщина избалованная светом, скупа и погружена в холодный эгоизм, как и все старые люди, отлюбив-

шие в свой век и чуждые настоящему. Она участвовала во всех суетностях большого света; таскалась на балы, где сидела в углу раздумянная и раздетая по старинной моде, как уродливое и необходимое украшение бальной залы; к ней с низкими поклонами подходили приезжающие гости, как по установленному обряду, и потом уже никто ею не занимался. У себя принимала она весь город, наблюдая строгий этикет и не узнавая никого в лицо». . . Так характеризует Пушкин свою Пиковую даму. Гениальная повесть Пушкина, а впоследствии и вдохновленная ею опера Чайковского, дала типу Пиковой дамы исключительную популярность. Как только повесть появилась в печати, читатели сейчас же обратили внимание не только на обрисовку этого типа, но и на черты пушкинской графини, в которых узнали портрет особы, хорошо известной большому свету обеих столиц. «При дворе» — внес Пушкин в свой дневник — «нашли сходство между старой графиней и княгиней Н. П. и, кажется, не сердятся». В печатном тексте повести графиня, не по случайной ошибке, несколько раз названа княгиней. Таким образом сам автор намекнул, что Пиковая дама списана с живого лица, и назвал это лицо.¹ Списана, конечно, не с механической точностью, а с претворением реального образа в произведение искусства и на фоне своего времени. Пушкин не только оценил в оригинале «Пиковой дамы» историческое явление, но это

¹ П. И. Бартенев впоследствии беседовал об оригинале «Пиковой дамы» с П. В. Нащокиным, которому Пушкин сказал, что это княгиня Н. П. Голицына. «Нащокин заметил Пушкину, что графиня непохожа на Голицыну, но что в ней больше сходства с Н. К. Загряжской. Пушкин согласился с этим замечанием и отвечал, что ему легче было изобразить Голицыну, чем Загряжскую, у которой характер и привычки были сложнее»; первоначально же Бартенев записал: «легче было изобразить Загряжскую, чем Голицыну» («Рассказы о Пушкине», запись П. И. Бартенева, М., 1925, стр. 47). У графини можно подметить некоторые самодурские, мелочные черты Загряжской, несвойственные величавой Голицыной, но и Нащокину Пушкин подтвердил, что старая графиня — Голицына. Давно уже Л. Н. Майков («Пушкин», СПб., 1899, стр. 412) заметил: «трудно допустить предположение, что Пушкин не вспоминал и Загряжскую, когда писал Пиковую даму».

явление художественно обработал, отбросив все ненужное творческому замыслу, оттенив все для него существенное и озарив исторический образ светом своей мудрой иронии.

«Княгиня Н. П.» — княгиня Наталья Петровна Голицына, рожденная графиня Чернышева, которую поэт, вступив в свет, застал уже глубокой старухой. По преданию, которому есть серьезные основания верить, она была внучкой Петра I, выдавшего свою любовницу Евдокию Ивановну Ржевскую за своего «денщика» Г. П. Чернышева. Их сын, в сущности сын Петра I, Петр Григорьевич (1712 — 1773), был одним из глав новой, петровской, аристократии и владельцем огромных богатств и пользовался большим расположением императрицы Елизаветы, давшей ему в 1742 г. графство и поручавшей ему очень ответственные дипломатические посты. В течение почти всего ее царствования он был посланником — в Дании, Пруссии, Англии, Франции. Женат он был на графине Елиз. Андр. Ушаковой, дочери гр. А. И. Ушакова, грозного начальника тайной розыскной канцелярии. От этих густых, острых кровей родилась 17 января 1741 г. Наталья Петровна, детство и юность которой протекли отчасти за границей, отчасти при дворе Елизаветы. Некрасивая, но обладавшая искусством нравиться, с характером, с умом, Наталья Петровна заняла довольно заметное для девушки ее лет положение при дворе и одно время даже блистала наравне с заправскими красавицами. Это положение она еще крепче упрочила при Екатерине II, которая умела ценить умных людей. Венцом ее успехов явилось ее двукратное участие в знаменитой карусели, устроенной летом 1766 г., одном из самых роскошных придворных праздников нового царствования. Здесь она проявила, по общему признанию, «приятнейшее проворство» и оба раза получила первые призы — «пребогатую брильянтовую тресилу», а затем именную золотую медаль и оба раза раздавала призы прочим участникам состязания.¹ Осенью того же года

¹ Об этой карусели есть целая литература. В Европе отозвался на нее Вольтер льстивой одой «Пиндарическая галиматья на карусель, устроенную российской императрицей».

она вышла замуж за князя Владимира Борисовича Голицына. Голицын, десятью годами ее старше, был человек очень богатый, но, по общим отзывам современников, не богат был умом, — зато у Натальи Петровны ума было на двоих, и жили супруги согласно. Наталья Петровна держала его в руках, — Пушкин не погрешил против истины, изобразив его таким мужем, с которым решительная супруга крайне редко доходит до объяснений и рассуждений. Высокое положение при дворе она занимала не по имени¹ и званию мужа (он и не пошел в чинах дальше бригадира), но по себе, по своему роду, а больше по своему трезвому уму и сильному характеру.

Детям своим она сумела дать, не в пример тогдашнему русскому барству, основательное образование, и когда они стали подрастать, переехала с этой целью в Париж. Впоследствии из ее детей — два сына и две дочери — выработались не совсем дюжинные люди, такие же гордые и независимые, как мать. Возвратилась она в Россию лишь в начале революции, вскоре похоронила мужа и затем провдовствовала почти полвека, — как говорили шутники, свято исполняя завет мужа, который ей «приказал долго жить».² Тактичная, много видевшая, свой человек при первых европейских дворах XVIII века, хорошо знавшая Людовиков XV и XVI и высшее общество Парижа и Лондона, Наталья Петровна на родине заняла положение еще значительнее прежнего и стала настоящею властью. Жила она открытым домом, то в Петербурге, то в Москве, и быть принятым у нее значило располагать высшим патентом на благородство. Авторитет остался за нею и тогда, когда она стала от старости выживать из ума. Такою узнал ее в тридцатых годах Пушкин. *Princesse Woldemar*, как ее называли в свете, должна была казаться поэту

¹ Впрочем она уважала в муже только знатное имя. Современник передает о ней анекдот (1834 г.): «она все фамилии бранит и выше Голицыных никого не ставит, и когда она пред внучкою своей шестилетней хвалила Иисуса Христа, то девочка спрашивала: не из фамилии ли Голицыных Иисус Христос?» («Русс. Арх.» 1902, III, 10).

² Там же.

какою-то странною загробною тенью среди живых, движущимся памятником истории. Мимолетный отзыв поэта о ней в одном письме (к кн. П. А. Вяземскому от января 1829 г.): «правительство не дама, не *Princesse Moustache*: прюдничать ему не пристало», показывает, что он ей не симпатизировал и знал, что она в своем роде власть. «Княгиня Наталья Петровна» — рассказывала многопамятливая хранительница преданий былого дворянства Е. П. Янькова¹ — «была женщина очень умная, любимая императрицей Екатериной и Марией Федоровною, с которой была весьма коротка, и уважаемая всем Петербургом, где большею частью жила при дворе. Она много путешествовала и была в Париже при Людовике XVI, была очень хорошо принята несчастной королевой Марией-Антуанетой и выехала из Парижа незадолго до начала революции. Она была собою очень нехороша: с большими усами и с бородой, отчего ее называли *la princesse moustache*. Хотя она и была довольно надменна с людьми знатными, равными ей по положению, но вообще она была приветлива». Пушкин сохранил ей надменность, но приписал ее молодости красоту, может быть лишь для того, чтобы воспоминанием о «*Vénus moscovite*» и старым портретом «красавицы с орлиным носом, с зачесанными висками и с розою в напудренных волосах», усилить впечатление чудовищной старости Пиковой Дамы. Прозвище «*Vénus*» носила у парижан времен Людовика XVI старшая дочь Екатерина Владимировна (впоследствии графиня Апраксина), которая, по словам Яньковой, была «очень хороша собою, но имела черты резкие и выражение лица довольно суровое, и поэтому когда она была в Париже, ее называли французы «*Vénus en sougoux*», потому что походила на разгневанную богиню». ² Может быть именно это прозвище дочери подсказало Пушкину такой штрих, как «*Vénus moscovite*», — так же, как ужасное, зловещее лицо древней старухи, ее усы и бородка, соответствующие народным

¹ Ее колоритные воспоминания записал и издал ее внук Д. Благово — «Рассказы бабушки. Из воспоминаний пяти поколений», СПб., 1885.

² «Рассказы бабушки», 112.

представлениям о ведьме, могли послужить тем зерном, из которого вдохновение Пушкина вырастило увлекательную повесть страсти и греха.

«Княгиня Наталья Петровна» — продолжает Янкова — «кроме того, что женщина от природы очень умная, была и великая мастерица устраивать свои дела». Получив после смерти мужа (1793 г.) хотя большое, но расстроенное и малоодоходное состояние, она «продала половину имения, заплатила долги и так хорошо все обделала, что, когда умерла, то оставила слишком шестнадцать тысяч душ». ¹ В числе ее имений было подмосковное село Вязёмы, некогда принадлежавшее Борису Годунову. Пушкин в детстве не раз бывал в Вязёмах (в двух верстах оттуда находилось Захарово, деревня бабушки поэта М. А. Ганибал) и, вероятно, с малых лет имел некоторое представление о старухе Голицыной.

В детях своих Голицына была очень счастлива, хотя ей пришлось пережить старшего сына, Бориса, писателя, умершего в чине генерал-лейтенанта от ран, полученных на войне (1813 г.). Большую карьеру сделал ее младший сын, Димитрий Владимирович (1771 — 1844), который много лет был московским генерал-губернатором и неизменно был осыпая милостями и почестями вплоть до андреевской цепи с алмазами, бриллиантового эполета, царского нагрудного портрета и титула светлости. Дети Натальи Петровны даже по-русски говорили плохо, но в одном отношении воспитаны были не на заграничный лад, а скорее по родимому домострою: властная княгиня умела навеки вселить в их сердца страх родительский. Это еще больше увеличивало всеобщее почтение к ней: «нет счастливее матери, как старуха Голицына, — надобно видеть, как за нею дети ухаживают». ² «Вся семья перед княгиней трепетала, и она до конца жизни детей своих называла уменьшительными именами: Апраксину — Катенькой, а Катеньке было далеко за шестьдесят лет; сын был для нее всё Митенькой. Привыкнув их считать детьми и

¹ «Рассказы бабушки», 237.

² Письма К. Я. Булгакова к брату А. Я., 1821 г. («Русс. Арх.» 1902, III, 506).

будучи сама уже очень стара, она никак себе представить не могла, что и они уже не молоды. Рассказывают, что, когда князь Димитрий Владимирович, бывая в Петербурге, останавливался у матери в доме, ему отводили комнаты в антресолях, и княгиня всегда призывала своего дворецкого и приказывала ему позаботиться, чтобы все нужное было у Митеньки, а пуше всего смотреть за ним, чтоб он не упал, сходя с лестницы. . . Несмотря на то, что все имение было Голицынское, княгиня Наталья Петровна самовластно всем заведывала, дочерям своим при их замужестве выделила по две тысячи душ, а сыну выдавала ежегодно по 50 тысяч руб. ассигнациями. Будучи начальником Москвы, он не мог жить как частный человек и, хотя получал от казны на приемы и угощения, но этого ему не доставало, и он принужден был делать долги. Это стало известно государю Николаю Павловичу; он говорил княгине, чтобы она дала что-нибудь своему сыну. Тогда она смилостивилась и прибавила ему еще 50 тысяч ассигнациями, думая, может быть, что его щедро награждает, но из имения, кроме ста душ, до самой кончины ее он ничего не имел». ¹ Над таким зависимым положением добродушного генерал-губернатора немало трунили. — «Сказывал ли я тебе» — писал в 1833 г. кн. П. А. Вяземский А. И. Тургеневу, — «почему князь Димитрий Владимирович не носит усов, вопреки общему положению: потому что он еще не отделенный сын». Тут же Вяземский сообщает об одной характерной черте старой княгини, которой тогда было 92 года: «Князь Димитрий Владимирович в трауре по кончине тещи, а старуха Вольдемар и, в ус не дует». ² Это как нельзя лучше сходится с одною сценою в «Пиковой даме». Графиня спрашивает:

— «Я чай, она уже очень постарела, княгиня Дарья Петровна?»

— «Как постарела?» — отвечал рассеянно Томский: — «она лет семь как умерла».

Барышня подняла голову и сделала знак молодому

¹ «Рассказы бабушки», 239, 240.

² «Остафьевск. архив кн. Вяземских», III, 222 — 223.

человеку. Он вспомнил, что от старой графини таили смерть ее ровесниц, и закусил себе губу. Но графиня услышала весть для нее новую с большим равнодушием.

— «Умерла!» — сказала она: — «а я и не знала»...

Даже имя Дарьи Петровны здесь не случайно подвернулось Пушкину: это было имя родной сестры княгини Н. П. Голицыной — графини Салтыковой (жены фельдмаршала Ивана Петровича).

Так почивала старая *princesse Moustache* на лаврах всеобщего почтения и даже подобострастия. «Родившись в начале царствования Елизаветы Петровны, при которой она была фрейлиной, княгиня Наталья Петровна видела царский двор при пяти императрицах и, будучи старожилкой, немудрено, что считала всех молодежью. Все знатные вельможи и их жены оказывали ей особое уважение и высоко ценили малейшее ее внимание».¹ Когда Карамзин читал в разных столичных домах свою историю, многие удивлялись, что он не читает ее у княгини Натальи Петровны:² это было бы в глазах тогдашнего общества самым высоким увенчанием его труда, потому что в обеих столицах давно уже без споров самым почтенным домом был признан ее дом. Еще в начале царствования Александра I она, давно уже вдова, была пожалована статс-дамой, — по словам современника, — «вопреки существующему в подобных случаях обычаю, не за заслуги мужа, который был только бригадир в отставке, но за семейные свои добродетели и во внимание к общему уважению, которым она пользовалась».³ Семейными добродетелями княгини принято было восхищаться. Василий Львович Пушкин, дядя автора «Пиковой дамы», вторил общему хору, когда сочинял такое приветствие Голицыной (1819 г.):

В кругу детей ты счастье вкушаешь;
Любовь твоя нам счастье дарит;
Присутствием своим ты восхищаешь,
Оно везде веселие родит.

¹ «Рассказы бабушки», 239 — 240. .

² Письма Н. М. Карамзина к жене, 1816 г. («Русс. Арх.» 1911, II, 588).

³ Записки С. П. Жихарева, М., 1890, стр. 379.

Повелевай ты нашими судьбами!
Мы все твои, тобою мы живем
И нежну мать, любимую сердцами,
В день радостный с восторгом мы поем.
Да дни твои к отраде всех продлятся!..

Репутация княгини была установлена незыблемо и непререкаемо, великосветский идол вознесся над своими добровольными рабами. В известные дни «весь Петербург» скакал на поклон властной старухе в ее дом, на углу Большой Морской и Гороховой. День ее рождения был при дворе и в большом свете своего рода табельным днем, — приезжала вся царская семья, и всех княгиня принимала сидя и вставала лишь навстречу царю.¹ «Усатой княгини» побаивались даже «августейшие». В 1817 г. великая княгиня Александра Федоровна (жена вел. кн. Николая Павловича), которой Жуковский преподавал русский язык, не выучив к уроку заданной басни, оправдывалась перед учителем тем, что не успела выучить, так как к ней приехала Голицына, и пришлось просидеть со старухой два часа: «вы знаете ли, что такое усатая княгиня? Когда приезжают эти кавалерственные дамы, тут уж не до шуток».²

Голицына была самым совершенным и полным выражением типа влиятельной старухи, уставщицы общественного мнения: к этому типу принадлежали М. А. Румянцева, мать фельдмаршала, Н. Д. Офросимова (с которой, говорили, Грибоедов списал свою Хлестову),³ Е. А. Архарова и др. Какое значение имел в общественной жизни этот своеобразный исторический тип, видно из слов, сказанных однажды Екатериною II своему статс-секретарю Н. П. Румянцеву: «Дивятся все, каким образом я, бедная немецкая принцесса, так скоро обрусела и приобрела внимание и доверенность

¹ Воспом. Ф. М. Толстого («Русс. Стар.» 1871 г., апр., 427 — 428).

² Дневники В. А. Жуковского. С примеч. И. А. Бычкова, СПб., 1903, стр. 56 — 57.

³ А. П. Керн, которая в молодости была представлена Офросимовой, впоследствии с удовольствием вспоминала: «представление было успешно, я имела счастье ей понравиться» («Русс. Стар.» 1870 г., т. I, изд. 2-е, стр. 233).

русских. Приписывают это глубокому уму и долгому изучению моего положения. Совсем нет. Я этим обязана русским старушкам. Не поверишь, Николай Петрович, какое влияние они имеют при всяком дворе». . . Влиятельным старушкам Екатерина приписывала даже некоторую долю своей удачи при занятии престола.¹ Пушкин, как видим, опасался, как бы при дворе не рассердились на него за сходство «Пиковой дамы» с Голицыной. И уж если ее побаивалась великая княгиня, то мудрено ли, что люди не столь высокого звания просто трепетали перед Голицыной и всячески старались не прогневать и угодить? Когда она выезжала из своего любимого калужского имения (Городни) в Москву, московский почт-директор заранее высылал ей навстречу чуть не целый табун казенных лошадей,² а благодарность ~~ее~~ за то, что везли ее быстро и исправно, принимал как самый лестный знак внимания.³

Сухая от природы, чуждая и в молодости каких бы то ни было страстей и увлечений, Наталья Петровна с годами все больше черствела и каменела. Такою застал и изобразил ее Пушкин, который не мог не выделить ее из ряда представительниц прошлого:

Тут были дамы пожилые
В чепцах и в розах, с виду злые, —

говорит он, описывая в «Онегине» светское собрание. Леденящий холод, которым веяло от Голицыной, шел не от обычного старческого консерватизма. Страх, который внушала Голицына, ее надменность, которую она, напомним к ее чести, выказывала только людям своего круга, были явлением иного порядка.

Этот страх был своеобразным началом премудрости государственной, а надменность была настоящим политическим служением. Голицына была — Пушкин этого не отметил, потому что это не входило в его художественную задачу — политической деятельницей. Усатая

¹ Н. И. Греч, «Записки о моей жизни», СПб., 1886, стр. 107 — 108.

² «Русс. Арх.» 1902, I, 600.

³ «Русс. Арх.» 1906, I, 357, 358.

княгиня, не в пример огромному большинству русской аристократии, обладала тем, что впоследствии стало называться классовым сознанием. В ее воспоминаниях отчетливо жил ужас, порожденный великой революцией, начало которой довелось видеть ей самой. С редким не только для женщины ее круга, но и для человека ее эпохи историческим пониманием, Голицына провела аналогию между Францией и Россией и—ужаснулась за судьбу своего класса. Она видела, как погибала старая феодальная монархия, как истреблялось дворянство, и в ней загорелось желание, если не предотвратить совсем, то по крайней мере отдалить такое же крушение петербургской монархии и как можно выше поставить дворянский принцип в России. «Императорский период» должен был найти свою преданную защитницу именно в ней, внучке создателей петербургского императорства, может быть даже внучке первого петербургского императора. И, как водится в силу неумолимого закона исторической диалектики, все ее усилия лишь вели к ускорению и обострению того социального кризиса, которого она так страшилась. Наперекор самой себе она торила путь грядущей русской революции. Голицыну с этой стороны своеобразно, но чутко очертил умный и желчный Вигель, который, описывая русское общество конца XVIII—начала XIX века, понял происхождение новой русской дворянской идеологии и указал на княгиню как на ее проповедницу. «Я узнал»,—говорит мемуарист,—«что знатный род и блестящие связи не только заменяют заслуги и чины, кои они доставляют или должны доставлять, но стоят на высоте, для сих последних недостижимой... Сия вера вывезена была прямо из сенжерменского предместья княгиней Н. П. Голицыной. Находясь в Париже во время революции, сия знаменитая дама схватила священный огонь, угасающий во Франции, и возжгла его у нас на севере. Сотни светского и духовного звания эмигрантов способствовали ей распространить свет его в нашей столице. Составилась компания на акциях, куда вносимы были титулы, богатства, кредит при дворе, знание французского языка, а еще более незнание русского. Присвоив себе

важные привилегии, компания сия назвалась высшим обществом и правила французской аристократии начала прилаживать к русским нравам столь же удачно, как и в нынешних французских водевилях маркизы де-Сенваль и виконтессы де-Жюссак на нашей сцене перерождаются Авдотьями Дмитриевнами и Марьями Семеновнами. Екатерина благоприятствовала сему обществу, видя в нем один из оплотов престола против вольнодумства, а Павел I даже покровительствовал ему, предоставляя себе однако же право немилосердно тузить его членов, чего французские короли себе позволять не могли». ¹

В этом процессе начинавшегося нового самоопределения русского дворянства, почуявшего первые признаки грядущей опасности и впервые подумавшего о защите своих привилегий, «не совсем было трудно усадой княгине Голицыной, с умом, с твердым характером, без всяких женских слабостей, сделаться законодательницей и составить нечто похожее на аристократию западных государств. К тому же», — прибавляет Вигель, — «в ней самой оставалось еще довольно много русского, чтобы переход к новым идеям не был столь ощутителен». ² В другом месте, определяя, впрочем, не без преувеличения, роль Голицыных в разработке дворянской идеологии, Вигель говорит: «из-за границы вывезли они новые понятия о преимуществах аристократии и стали почитать себя по крайней мере наравне с дюками и пэрами той земли, где их величали принцами; начали, и не они одни, свой новый аристократизм прилагать к русскому боярству; начали явно пренебрегать не столько еще простым народом, как мелкими, хотя бы и старинными, дворянами... В их предприятиях большой помощницей была княгиня Наталья Петровна, умная и гордая женщина с твердым, даже крутым нравом, вошедшая в их семейство; она лучше всякого мужчины умела поддержать на некоторой высоте род их, клонившийся к падению. Они, не думая о том, хотели вводить к нам все то, что, раз-

¹ Записки Ф. Ф. Вигеля, изд «Русс. Арх.», I, 138.

² Там же, II, 17.

дражая самолюбие средних классов, породило ужасную революцию 1789 года».¹

Судьба жестоко посмеялась над старой княгиней. Наталье Петровне пришлось увидеть и в России социальный бунт, притом произведенный самими дворянами, а в числе революционеров — человека из собственной семьи княгини, носителя той фамилии, которую носила она сама в девичестве, своего внучатного племянника, графа Захара Григорьевича Чернышева, последнего в мужской линии этого рода. Конечно она не могла сочувствовать своему несчастному внуку, который ушел в Сибирь, но и покаравшей декабристов власти она не простила удара, нанесенного ее родовой и личной гордости. Рассказывают, что когда ей был в Зимнем дворце одной высокой особой представлен граф Чернышев, Александр Иванович, новопожалованный граф, которого вознесло на первые ступени в государстве декабрьское дело, и который пытался овладеть родовыми имениями сосланного Захара Чернышева, урожденного графа, княгиня не ответила на почтительный поклон первенствующего царского любимца и резко сказала:

— Я знаю только одного графа Чернышева, того, который теперь в Сибири. . .

Нужен был ее характер, чтобы отважиться так ответить в то время, и нужно было ее общественное положение для того, чтобы подобный ответ остался безнаказанным.

Впрочем, даже ее собственной семьи коснулись «освободительные» идеи. Ее сын, князь Димитрий, далеко не был чужд им. «Он находился с матерью в Париже во время начала первой революции», — говорит Вигель: — «как покорнейший сын, он был упитан строгими аристократическими правилами гордой княгини Натальи Петровны, а как семнадцатилетний юноша увлечен новыми идеями, которые сулили миру блаженство. Сие образовало весьма необыкновенный характер; в нем встречалось всё то, что было лучшего

¹ Записки Ф. Ф. Вигеля, изд. «Русс. Арх.», IV, 17.

в рыцарстве, со всем, что было хвалы достойно в республиканизме».¹

Княгиня Н. П. Голицына пережила почти на год создателя «Пиковой дамы». Она умерла 20 декабря 1837 г.

V

Скромная Лизавета Ивановна — самое лучшее в русской литературе воплощение типа «воспитанницы», жертвы причуд и капризов знатной старухи, жертвы быть может более несчастной, чем последний крепостной слуга. Этим типом Пушкин заинтересовался несколько лет назад, в начале задуманного им эпистолярного романа. «Ты не можешь вообразить, — пишет своей подруге Лиза, «воспитанница», — как много мелких горестей неразлучны с этим званием. Многие должна я была сносить, во многом уступать, многого не видеть, между тем как мое самолюбие прилежно замечало малейший оттенок небрежения. Самое равенство мое с княжнью было мне в тягость. Когда являлись мы на бал, одетые одинаково, я досадовала, не видя на ее шее жемчугов. Я чувствовала, что она не носила их для того только, чтоб не отличаться от меня. Неужто предполагают во мне, думала я, зависть или что-нибудь похожее на такое детское малодушие? Поведение со мною мужчин, как бы оно ни было учтиво, поминутно задевало мое самолюбие. Холодность их или приветливость, все казалось мне неуважением. Словом, я была

¹ Там же, VII, 237. Нетрудно представить себе, что испытал этот двоившийся в своих взглядах и чувствах, но хороший человек, что перенесла княгиня Наталья Петровна, когда к нему через несколько дней после 14 декабря прибыл командированный для ареста находившихся в отпуску и прикосновенных к тайному обществу офицеров кавалергардского полка командир эскадрона того же полка, ротмистр Р. Е. Гринвальд, молодой «николаевский орел» из самых кряжистых немцев. Князь Димитрий Владимирович принял зловещего гонца «очень холодно и казался недовольным всем случившимся и ныне предпринимаемым». В Орловской губернии Гринвальд розыскал графа З. Г. Чернышева, арестовал его и доставил в Зимний дворец. («Сборник биографий кавалергардов. 1826 — 1908». (Т. IV), СПб., 1908, стр. 6; здесь приведены воспоминания Р. Е. Гринвальда).

создание пренесчастное, и сердце мое, от природы нежное, час от часу более ожесточалось. Заметила ли ты, что все девушки, состоящие на правах воспитанниц, дальних родственниц, *demoiselles de compagnie* и тому подобное, обыкновенно бывают или низкие служанки, или несносные причудницы? Последних я уважаю и извиняю от всего сердца». Краткое известие в «Заключении», что впоследствии, выйдя замуж, Лизавета Ивановна взяла на воспитание бедную родственницу, брошено Пушкиным не зря: оно проникательно рисует ординарную натуру Лизаветы Ивановны. Н. С. Мартынов, убийца Лермонтова, рассказывая про обычай тиранить новичков в военной школе, весьма кстати вспомнил эту пушкинскую строчку: «объяснить себе этот обычай можно разве только тем, как весьма остроумно сказано в конце повести Пушкина «Пиковая дама», что Лизавета Ивановна, вышед замуж, тоже взяла себе воспитанницу, другими словами, что все страдания, которые вынесли новички в свое время, они желают выместить на новичках, которые их заменяют».¹

Хорошо изображены и другие, эпизодические герои повести — светские люди, молодой архиерей-карьерист с его официальной ложью (этот тип впервые замечен именно Пушкиным и удивительно тонко им понят) и холодно-ласковый, строго-величавый глава игорного дома.² К кругу прожигателей жизни Пушкин всегда питал некоторую слабость. Самой ранней (около 1819 г.) известной нам беллетристической пробой пера Пушкина был рассказ из жизни светской золотой молодежи, повидимому той, среди которой очутился поэт по выходе из лицея, но дело не пошло дальше первой страницы, — она своим тоном и отчасти даже содержанием напоминает начало «Пиковой дамы». В этой среде (представители ее должны были фигурировать и в задуманном Пушкиным впоследствии и не осуществленном «Русском Пеламе») встречались оригинальные и

¹ «Русс. Арх.» 1893 г., II, 590.

² Чекалинский наваян Пушкину, очевидно, Казановой, который, играя в Милане в тот же фараон, посещает игорный дом графа Канано, «тонкого наблюдателя и отличного игрока», всегда утчивого и любезного.

интересные характеры, но Пушкин был тогда еще слишком молод для бытовой повести. Лишь значительно отделившись от данной среды и эпохи и приобретя художественный и житейский опыт, Пушкин мог нарисовать героев «Пиковой дамы».

«Повесть Пушкина» — характеризует Гершензон манеру, в которой написана «Пиковая дама», — «в отличие от нашей современной повести, не картина, а рисунок пером; в ней нет мазков, передающих полутоны, — всё сухие, четкие линии, рисующие как бы остов события, обстановки или характера». Чрезвычайное искусство обнаружил Пушкин в языке, которым говорят герои. Мольбы, с которыми Германн обращается к графине, звучат необыкновенным пафосом глубоко взволнованной страстной души. Графиня, с ее «вчера», «я чай», «и, мой милый!», «батюшка», «мать моя», говорит тем хорошим, грубоватым народным языком, каким говорили русские бары XVIII столетия, мешая его с изящной французской речью сен-жерменского предместья. Пушкин, рассказывает Анненков,¹ «советовал учиться русскому языку у старых московских барынь, которые никогда не заменяют энергических фраз: я была в девках, лечилась и т. п. жеманными фразами: я была в девицах, меня пользовал, и проч.».² Нарочитая старомодность литературной техники видна в таких местах, как услужливое объяснение читателю (в IV главе): «слова Томского были не что иное, как мазурочная болтовня», или сообщение в конце повести, что «Томский произведен в ротмистры и женится на княжне Полине». Заметим галлицизм (во II главе): «следовал за оборотами игры», т. е. следил.

Эпиграфы, одна из обычных особенностей пушкинской прозы и вообще литературы пушкинской эпохи, были всегда предметом усердной заботы Пушкина. Так, он заранее подготавливал эпиграфы к отдельным главам «Арапа Петра Великого», советовался с П. А. Плетне-

¹ «Материалы для биографии Пушкина», изд. 1855 г., стр. 106.

² Таким языком говорит старая барыня в наброске повести: «В одно из первых чисел апреля»... Образчик подобной речи см. в цитированных «Рассказах бабушки», стр. 292 — 293.

вым об эпитафиях к «Повестям Белкина». ¹ Умел он выбирать их мастерски; в «Пиковой даме» эпитафии подобраны также очень искусно. Даже осуждавший вообще повесть А. М. Языков находил, что «в ней всего лучше эпитафии, особенно атанде-с». ² Эпитафия к I главе принадлежит самому Пушкину, который приводит эти стихи в письме 1 сентября 1828 г. к кн. П. А. Вяземскому, с заменой пожелания «бог их прости» другим, непечатным. ³ Об эпитафии к II главе Д. В. Давыдов писал Пушкину: ⁴ «помилуй, что у тебя за дьявольская память; я когда-то на лету рассказывал тебе разговор мой с М. А. Нарышкиной: «Vous préférez les suivantes», сказала она мне: «parce qu'elles sont plus fraîches», был ответ мой; ты слово в слово поставил это эпитафией в одном из отделений «Пиковой дамы». Вообрази мое удивление и еще более восхищение жить так долго в памяти Пушкина, некогда любезнейшего собутыльника и всегда единственного родного моей душе поэта. У меня сердце облилось радостью, как при получении записки от любимой женщины». Эпитафия к III главе Пушкин записал гораздо ранее «Пиковой дамы», повидимому в черновике начатого рассказа: «На углу маленькой площади»... ⁵ вероятно он принадлежит Пушкину, которому также, быть может, надо приписать эпитафию к главе V. Что касается до эпитафии к VI главе, то «материал» для него мог дать Пушкину анекдот о графе Гудовиче, который, рассказывается в «Старой записной книжке» князя П. А. Вяземского, ⁶ «говаривал, что с получением полковничьего чина он перестал метать банк сослуживцам своим. Неприлично, продолжал он, старшему подвергать себя требованию какого-нибудь молокососа-прапорщика, который, пон-

¹ Переписка Пушкина (академич. изд., II, 302—303, 319.

² «Историч. Вестн.» 1883 г., декабрь, 539.

³ См. Сочин. Пушкина, изд. Брокгауз-Ефрона, т. V, стр. V, примеч. к № 540.

⁴ 4 апреля 1834 г. (Сочин. Д. В. Давыдова, изд. 1895 г., стр. 192); об этом Давыдов писал в тот же день Н. М. Языкову (там же, 194).

⁵ Тетрадь московского Румянцевского музея № 2371, л. 87 («Русс. Стар.» 1884 г., июль, 52).

⁶ Сочин., VIII, 189.

тируя против вас, почти повелительно вскрикивает: аттанде.¹ Аттанде, слово роковое, мне не приходит на язык... вспоминал в «Онегине» Пушкин о волнениях, пережитых за карточным столом.

Живость и богатство гармонически и быстро развивающегося в «Пиковой даме» действия, не говоря уже о внешнем эффекте пушкинской фантастики, давно были замечены как благодарный материал для сцены. Еще князь А. А. Шаховской переделал повесть в драму.² Скриб написал для Галеви либретто оперы «La dame de pique», которая шла в парижской Opéra comique 28 декабря 1850 г.; впрочем, в нем от пушкинской повести почти живого места не осталось.³ В 1890 г. появилась «Пиковая дама» П. И. Чайковского с либретто М. И. Чайковского, довольно удачно приспособившего повесть к сцене.⁴ Из всех повестей Пушкина «Пиковая дама» быть может наиболее доступна иностранным переводам, почти без потери своих лучших сторон. Ее уже давно начали переводить. Нам известны (едва ли все

¹ Повидимому это был ходячий военный анекдот. У А. С. Афанасьева-Чужбинского («Самодуры» в «Очерках прошлого», ч. IV, СПб., 1863, стр. 215, 216) генерал опасается играть в банк или шtos — «потому, сударь, что неприятно от какого-нибудь прапорщика услышать «аттанде»; собеседник, уговаривая генерала играть, успокаивает его: «вы может быть думаете, что я буду говорить вам «аттанде»? напротив, вы можете мной командовать». А. Н. Бенуа, не зная, что «аттанде» термин карточной игры, и не понимая, что такой разговор мог происходить лишь за игорным столом, нарисовал (в иллюстрированном издании повести, тов-ва Голике и Вильборг) геморроидального департаментского олимпийца, гневно напустившегося на стоящего перед ним канцелярского замухрышку.

² «Русс. Стар.» 1881 г., август, 602; П. Столпянский, «Одна из переделок произведений Пушкина для сцены («Ежегодн. Имп. Театров» 1911 г., III, 11 — 15). Есть курьезная переделка Д. И. Лобанова, пятиактная драма «Картежник» (Д. И. Лобанов, «Сборник театральных пьес», вып. II, СПб., 1879).

³ В. Шульц, «А. С. Пушкин в переводе французских писателей», СПб., 1880, стр. 90; М. М. Иванов, «Пушкин в музыке», СПб., 1899, стр. 123 — 124; «Памяти Пушкина, сборн. статей преподавателей и слушателей ист.-филол. факул. Имп. Спб. Университета», СПб., 1900, стр. 127 — 128.

⁴ «Музыкальное Обозрение» Н. Кашкина в «Русс. Обозр.» 1890 г., декабрь, 780 — 793; М. М. Иванов, стр. 106 — 108, 134 — 135; «Памяти Пушкина», стр. 128.

впрочем) переводы «Пиковой дамы» на языки немецкий, французский, чешский, болгарский, сербо-хорватский, словенский, ново-греческий, турецкий, венгерский, финский. Выдающаяся популярность этого произведения, одного из самых читаемых во всей пушкинской прозе, не помешала ему стать жертвой забавного и дерзкого плагиата. В московской газете «Жизнь», которую редактировал известный адвокат Ф. Н. Плевако, в 1885 г.¹ появились первые две главы «Пиковой дамы» с небольшими искажениями и за подписью какого-то Ногтева.

¹ № 125, 22 июля; см. об этом у П. Мартьянова, «Дела и люди века», т. III, СПб. 1896, стр. 140); «Три последних самодержца». Дневник А. В. Богданович, Лг., 1924, стр. 171. Упомянул об этом Чехов в том же 1885 г. в одном из своих фельетонов («Осколки», № 36).

ИСТОРИК ПУГАЧЕВЩИНЫ И КАЗАНСКИЕ СУКОНЩИКИ

К манифесту Екатерины II «о преступлениях казака Пугачева» было приложено «Описание происхождения, дел и сокрушения злодея, бунтовщика и самозванца Емельяна Пугачева». Здесь есть интересная подробность, касающаяся одной категории рабочих. Рассказывая о взятии Пугачевым Казани (12 июля 1774 г.), где ему достался самый значительный, но и самый кратковременный успех, официальный источник сообщает, что пугачевцы прорвались в Казань «сквозь линии суконщиков, изменою их». . . Пушкин, в своей «Истории Пугачевского бунта» (глава VII) изображает дело так. «Левое крыло Пугачева бросилось к Суконной слободе. Суконщики (люди разного звания и большей частью кулачные бойцы), ободряемые преосвященным Вениамином, вооружились чем ни попало, поставили пушку у Горлова кабака и приготовились к обороне. Башкирцы с Шарной горы пустили в них свои стрелы и бросились в улицы. Суконщики приняли было их в рычаги, в копыя и сабли, но их пушку разорвало с первого выстрела и убило канонера. В это время Пугачев на Шарной горе поставил свои пушки и пустил картечью по своим и по чужим. Слобода загорелась. Суконщики бежали». К приведенным строкам Пушкин присоединил следующее примечание: «В сентенции сказано было, что Пугачев ворвался в город изменою суконщиков. Следствие доказало, что суконщики не изменили; напротив, они последние бросили оружие и уступили превосходной силе».

Больше никаких подробностей Пушкин не сообщает и лишь в списке жертв пугачевцев (примеч. к VIII главе)

приводит имена пяти мастеровых и работников казанской суконной фабрики, убитых «до смерти». Заключение свое Пушкин высказал в «общих замечаниях». «Весь черный народ был за Пугачева, духовенство ему доброжелательствовало, не только попы и монахи, но и архимандриты, и архиереи. Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства. Пугачев и его сообщники хотели сперва и дворян склонить на свою сторону, но выгоды их были слишком противоположны. Класс приказных и чиновников был еще малочислен и решительно принадлежал простому народу. То же можно сказать и о выслужившихся из солдат офицерах. Множество из сих последних было в шайках Пугачева». Благонамеренная, официальная историография всегда старалась опорочить эту сторону пушкинского исследования. Так, один историк казачества¹ пытается опровергнуть суждения Пушкина о донских казаках: «почти во всех местах своей истории он выставляет донцов не иначе, как предающимися самозванцу, забывая, что в этом несправедливом подозрении оправдала их пред целым светом сама Великая Екатерина». При этом критик ссылается на слова Екатерины Вольтеру, которому она писала, что «донские казаки никогда не попадались на удочку этого злодея». Екатерина была умнее многих историков, — когда она писала Вольтеру, то имела в виду подействовать на европейское общественное мнение и хотела ослабить впечатление, произведенное в Европе революционным движением, которое поднял «маркиз» Пугачев, сама же знала настоящую цену этому донскому казаку и много лет спустя, расправляясь с Радищевым, недаром сравнила его с Пугачевым.

При свете помянутых «общих замечаний», которые в свое время, надо прибавить, не могли быть опубликованы, и которые Пушкин мог сообщить лишь царю и шефу жандармов, надлежит смотреть на отношение Пушкина к предмету исследования и между прочим на его слова о казанских суконщиках. В приговоре было

¹ М. Сенюткин, «Военные действия донцов против крымского хана Девлет-Гирея и самозванца Пугачева в 1773 и 1774 годах» («Современник» 1854 г., т. XVI, отд. II, стр. 44).

сказано, что суконщики изменили и дали Пугачеву возможность ворваться в Казань. Пушкин же передает дело иначе и, глухо ссылаясь на следствие, заявляет, что суконщики не изменили. Сличая рассказ поэта с им же опубликованным рассказом современника событий, архимандрита Платона Любарского, писавшего шесть недель спустя, мы убеждаемся, что Пушкин, весьма тщательно использовавший и почти дословно изложивший этот источник, внес в свое изложение кое-какие данные, почерпнутые из других источников, между прочим — из устных сообщений казанских старожил и местного ученого, профессора К. Фукса.¹

О поведении суконщиков Любарский не говорит ничего и лишь сообщает, что «левое злодейское крыло, к Суконной слободе, собственному защищению оставленной, пробравшись, караулы по горе и народ, из-за рогаток некоторое сопротивление чинивший, сбили и, немедленно оную зажегши, устремились по улицам»... Слово «некоторое» указывает, что сопротивление это было незначительно. По словам «Летописи» Рычкова², при пожаре, истребившем более двух третей казанских строений, Суконная слобода уцелела. Судьба ее была бы иная, если бы суконщики сопротивлялись серьезнее.

На этом моменте стоит остановиться потому, что Пушкин здесь так близко, как никогда, подошел к рабочему классу, в то время немногочисленному, лишь нарождавшемуся в России и чрезвычайно далекому от обычных интересов поэта, знавшего главным образом крестьянские круги народа. Хотя мы располагаем сравнительно незначительными данными, все-же можем сказать, что Пушкину в этом случае предстояло испытать меру своего сочувствия рабочему люду в его борьбе за свободу, и что это испытание он выдержал с честью, достойною его пронизательного ума и благородного сердца. Но прежде всего скажем несколько слов об оригинальной категории едва возникшего русского рабочего класса, которая была в свое время известна под именем казанских суконщиков.

¹ Об этом см. в комментариях проф. Н. Н. Фирсова к «Сочин. Пушкина», академич. изд., т. XI, примеч., стр. 243 — 244.

² Там же. стр. 440.

Казанский народ вообще считается разбитым и способным, не менее ярославцев. Горю «казанского сироты» никто не верит: это хитрец, продувная bestия. О суконщиках же поется в старинной местной песне:

Во городе во Казани,
А при озере Кабане,
Фабричек стоит,
Фабричек стоит...
Стоит фабричек суконный,
Там живет народ проворный —
Знает, как пожить,
Денежки нажить...

Пушкин рекомендует их: «люди разного звания» (что, конечно, должно означать, в отличие от крестьянства, городской пролетариат в нынешнем смысле слова) «и большей частью кулачные бойцы». Характеристика эта основана, может быть, даже на личном наблюдении: собирая материалы для «Истории Пугачевского бунта», поэт в начале сентября 1833 г. посетил Казань. В кулачных боях между русскими и татарами, зимою устраивавшихся на замерзшем Кабане, суконщики всегда играли видную роль, и слобода, населенная ими, была оригинальным и интересным уголком старой Казани.

Бывшая татарская столица вот уже два века снабжает нашу деревню и отчасти армию добротными сортами простых сукон, крестьянских и солдатских. Возникла в Казани эта промышленность в начале XVIII века, когда Петр I с лихорадочною стремительностью переводил Россию на капиталистические рельсы и насаждал буржуазию. Им было основано в разных местах более двухсот фабрик, но самым трудным делом было снабжение их рабочим персоналом. В тогдашней России даже ремесла были развиты не особенно высоко, и рабочие кадры надо было еще создавать. Петр завел крепостной рабочий класс: он стал определять на заводы казенных мастеровых и предоставил (1721 г.) заводам удерживать поступивших на них беглых крестьян, кто бы ни был их прежний господин, а также приобретать целые населенные имения. Так возникло приписное или посессионное заводское и фабричное крепостное сословие, это первое ядро русского рабо-

чего класса. Основанный в Казани (1714 г.) шерстяной завод сначала работал вяло в казенных руках, но нашлся способный человек, купец Михляев, владевший небольшой суконной фабрикой, сметливый и оборотистый делец. Петр I, умевший всюду находить даровитых людей, отдал шерстяной завод сначала в управление, а потом (1724 г.) в собственность Михляеву, который, соединив оба предприятия, повел дело успешно. Первые мастерские были из сосланных стрельцов, сторонников царевны Софьи, старообрядцев, а преимущественно из вольнолюбивого бродячего русского люда, искавшего «где лучше». При Михляеве, — гласят предания, — рабочим жилось сравнительно не худо. Они пользовались даже некоторой внутренней автономией и имели право выбирать своих старост, судей, артельщиков и даже «говорунов», своего рода депутатов или адвокатов, — выбранные на эти посты приносили присягу. Положение изменилось при преемниках Михляева, которые стали притеснять рабочих и урезывать заработную плату. Развращенные широкими привилегиями фабриканты в послепетровское время, когда центральная власть ослабела, вошли во вкус деспотизма, каждый из них чувствовал себя «царем и богом» в своих владениях. Теперь довольно часто происходили волнения и забастовки. В 1749 г., например, сильно волновались рабочие московской суконной фабрики Болотина. Доведенные притеснениями до отчаяния, они сначала обратились к правительству, но поддержки не нашли и тогда объявили забастовку; последовала жестокая расправа, несколько сот человек бежало, а к фабрике велено было приписать несколько сот новых крепостных работников.

Такая же судьба постигла казанских суконщиков: в 1755 г. за суконной фабрикой были закрепощены высочайшим указом все ее рабочие, земельные и безземельные, в числе 1369 человек. Несчастные люди были как громом поражены и решили добиваться свободы. Эта борьба длилась почти сто лет и поглотила много жертв.

Казанские суконщики стали рабами буквально накануне прекращения приписки рабочих к заводам. Пра-

вительство само уже тяготилось чрезмерными привилегиями, данными фабрикантам. В 1758 г. заводчик Иван Твердышев, хорошо поставивший свои металлургические заводы, был из податного сословия произведен прямо в чин коллежского асессора, т. е. в потомственные дворяне, именно за то, что не требовал от правительства приписки крестьян. При Петре III и Екатерине II приписка была приостановлена. Но казанским суконщикам от этого не было легче. Фабрика, правда, процветала. Еще в тридцатых годах славились михляевские сукна, и с казанской фабрики часто брали мастеров для новых фабрик.

И двадцати лет не прошло с тех пор, как суконщики утратили свободу, не успело еще вырасти новое поколение их, уже рожденное в рабстве, когда разразился Пугачевский бунт. «Не подлежит сомнению», — говорит их историк,¹ — что суконщики не принимали никакого активного (!) участия в разорении Казани Пугачевым в 1774 г. Один почтенный суконщик, умерший 90-летним стариком в 1866 г. рассказывал, что перед нашествием Пугачева на Казань, обуянное страхом фабричное начальство, боясь мести и бунта своих мастеровых, задабривало их многими обещаниями, наградами и даже «волей», если они останутся спокойны и помогут спровести из Казани вора Емельку. Были прекращены все работы на фабрике, и производилась от владельца ее каждодневная даровая выдача вина и калачей как в самой фабрике, так и в Горлове кабаке. Суконщики поддались на эту удочку и остались спокойными. Молодежь впрочем делала попытки к поднятию «общего вопроса» и начинала уже свирепствовать, но партия

¹ Я. Посадский, «Как добились себе воли казанские суконщики. (Из рассказов стариков)». — «Первый шаг. Провинциальный литературный сборник. 1876», Казань, 1876 г. Я. Посадский — псевдоним казанского журналиста Н. Я. Агафонова (1842 — 1908), редактировавшего в 1872 — 1874 гг. газету «Камско-Волжский Край». Сборник «Первый шаг», в настоящее время очень редкий, подвергся преследованию главным образом за статью о суконщиках. Там же помечен рассказ П. Фелонина «Крещенский бой на Кабане», где говорится о кулачном бое, происшедшем на льду Кабана в Крещение 1832 г. и оставившем по себе память на много лет, так что Пушкин наверное мог в 1833 г. узнать в Казани об этой характерной черте туземных нравов.

старых суконщиков, пользовавшаяся здесь постоянным уважением молодого поколения, сдерживала вспышки, склоняясь более к легальному образу действия. Пугачевщина кончилась, и суконщики остались с носом; их не только не освободили, но горше прежнего опутали разными тяготами. Старики краснели перед молодыми, женщины рвали волосы, сожалея об удобном случае». Сожалеть впрочем едва ли следовало: уйди даже все суконщики поголовно в пугачевцы, они этим не задержали бы падения пугачевщины, так как Пугачев не удержал за собой Казани, в которой и трех дней не пробыл, а через два месяца уже попал в руки екатерининских генералов. . .

Воцарился Павел I, и народ ободрился. Указом 5 апреля 1797 г. новый царь сократил барщину до трех дней в неделю, хотя он же в марте 1798 г. вновь разрешил фабрикам и заводам покупку крестьян. В мае 1798 г. Павел посетил Казань. Суконщики решили воспользоваться этим и представили царю через своего выборного челобитную о своих нуждах. Павел обещал расследовать дело, но оно затянулось, а тем временем Павла не стало, и оно совсем заглохло. Правда, одним указом 1800 г. этот царь попытался облегчить положение приписанных к заводам крестьян, но положение казанских суконщиков от этого легче не стало. При Александре I суконщики не унимались и настойчиво продолжали добиваться освобождения, но их энергичные выборные большей частью погибали в сибирской ссылке. Однажды впрочем им удалось добиться кратковременного облегчения, и они вместо того, чтобы работать с 4 часов утра до 10 часов вечера за исключением часа на обед (17-часовой рабочий день!), стали работать с 5 часов утра до 8 часов вечера (14 часов!). При Николае I рабочий день опять был уменьшен, до 12 часов, и даже повышена заработная плата, но зато был увеличен урок, так что рабочим стало едва ли не хуже прежнего.

Особенно тяжело приходилось суконщикам с 1827 до 1837 года, когда фабрика находилась в аренде у А. И. Лобачевского (родного брата гениального математика). Это был завзятый тиран-крепостник, свирепый, не-

умолимый. Окружив себя шпионами и такими же жестокими, как он сам, приказчиками и мастерами, он обратил фабрику в сущий ад. Рабочих не только донимали денежными штрафами, но истязали — зашивали ноги в колодки, заковывали в кандалы, на голову надевали особый железный прибор, не дававший пытаемому заснуть. . .

В августе 1836 г. в Казань приехал Николай I, и суконщики, обманув бдительность старательно следивших за ними полицейских и фабричных властей, послали к нему выборных. Царь принял поднесенную ими бумагу и сказал:

— Жалобу вашу велю рассмотреть, обидчикам не потакну. . . Но если найду в ней неправду, берегитесь! Вам крепко достанется!

Последние царские слова сбылись. В ноябре специальная следственная комиссия приступила к разбору дела суконщиков. Она сразу навела ужас на жалобщиков. Отставной канцелярист, писавший для суконщиков прошение, застрелился. Комиссия составила доклад, неблагоприятный для суконщиков. Узнав об этом, они апеллировали к. . . божьей матери, — написав протест и обвиняя следователя в пристрастии, они снесли эту бумагу в женский монастырь и положили перед образом богоматери. На небо протест не попал, — монахини передали его архиерею, а тот в комиссию же. . . В конце января 1837 г. дело было кончено. «Мятежники» страшно пострадали. Пятьдесят два человека были приговорены: четверо к прогнанию сквозь строй и ссылке рядовыми в дальние батальоны, тридцать один к ссылке в Сибирь, на Иркутскую суконную фабрику, семнадцать — к отдаче в солдаты, с зачислением в полки, расположенные в Финляндии. У прочих же рабочих было приказано отобрать подписку в том, что они не будут больше заводить никаких исков, тяжб и жалоб на своего господина. Суконщики отказались дать подписку, и тогда решено было принудить их к этому силой.

Фабрику окружили цепью казаков и жандармов, поставили четыре пушки, внутрь ввели солдат с заряженными ружьями, привезли несколько возов прутьев

и цепей и потребовали подписки. Согнанные на двор рабочие дать ее отказались. Началась порка. Она длилась с девяти часов утра до четырех пополудни. А на улице плачущие жены и дети «наказываемых» несколько раз пробовали ворваться в ворота, но казаки гнали их нагайками. Один суконщик вытерпел полторы тысячи ударов, но подписки не дал и был замертво отвезен в больницу. Другой, 18-летний мальчик, дал подписку только тогда, когда из его спины стали вылетать куски мяса. К чести рабочих надо сказать, что «не выдержавших характера» оказалось не более полутораэта человек, остальные же не поддались и подписки не дали. Шесть человек вынесли от 1 000 до 1 600 ударов каждый. После расправы приговоренных в Сибирь и в солдаты заковали в цепи и отправили по назначению, а несколько дней спустя прогнали сквозь строй четырех осужденных первого разряда. Фабриканту же было теперь предоставлено право не только самому наказывать мастеровых за маловажные проступки, но и брать в работу их жен и детей.

Несколько месяцев спустя суконщики тем же манером подстерегли приехавшего в Казань наследника престола Александра Николаевича и подали ему новую челобитную. Он обещал им свою помощь — и ничего не сделал. Не будем корить бедняков за их наивность: еще много лет, вплоть до гапоновского шествия 9 января 1905 г., тысячи и тысячи русских рабочих считали слезницы одним из самых серьезных способов борьбы за право... Лишь в 1849 г. казанские суконщики были наконец освобождены, значительно позже многих других заводских крестьян, и получили права свободных городских обывателей. Вскоре все они стали казанскими мещанами, а по вступлении на престол Александра II возвратились из двадцатилетней ссылки их уцелевшие «мятежные» товарищи.

Пушкин посетил Казань в самое тяжелое для суконщиков время. Беседуя с местными обывателями, с профессором Фуксом, с бывшим городским головою Крупениковым, который был свидетелем нашествия Пугачева на Казань и побывал в плену у пугачевцев, Пушкин, несомненно, узнал немало как о прошлом, так

и о настоящем Казани. Трудно допустить, что чуткий к социальным движениям поэт ничего не знал о печальном положении казанских рабочих, о непрекращающемся брожении в их среде. Именно это знание казанской бытовой и политической обстановки должно было ему помешать вполне оценить поведение казанских суконщиков при нашествии Пугачева. Признай он в дедах дух протеста, он этим мог бы косвенно повредить внукам: его слова были бы приняты как указание на наследственное бунтарство (тем более, что причины протеста оставались теми же). Вопрос о суконщиках, после ряда «бунтов» и следовавших за ними «усмирений», был очень болезненный вопрос, и неосторожное напоминание о нем могло бы лишь повредить и без того преследуемым людям. Если «лояльность» казанских суконщиков во время Пугачевщины и была слишком опорочена екатерининским судом, то во всяком случае это была шаткая, сомнительная лояльность, купленная водкой, калачами и обещаниями, и нам кажется, что, заступаясь в своем примечании за этих людей, Пушкин не столько заботился о восстановлении верноподданнической репутации рабочих екатерининского царствования, сколько старался не повредить своим современникам, рабочим тридцатых годов.

Указывая не раз на измены донских казаков, Пушкин сознавал, что не может скомпрометировать это многочисленное и сильное сословие, с которым всегда приходилось серьезно считаться правительству, но, несомненно, он боялся, как бы его неосторожное, хотя и правильное, суждение не отразилось дурно на интересах небольшой и угнетенной группы тружеников.

Если он в данном случае слегка погрешил как историк (а в его книге о Пугачевском бунте есть более существенные ошибки), то хорошо поступил как человек и гражданин.

„ВЕЛИКИЙ МЕЛАНХОЛИК“

(Пушкин и гоголевская «стихия»)

Проводя в «Мыслях на дороге» полусатирическую параллель между Петербургом и Москвою, Пушкин заключает такими словами: «Кстати, я отыскал в моих бумагах любопытное сравнение между обеими столицами; оно написано одним из моих приятелей, великим меланхоликом, имеющим иногда свои светлые минуты веселости: Москва и Петербург...». Этого «любопытного сравнения» в бумагах Пушкина не нашлось.

Н. С. Тихонравов¹ категорически указал, что Пушкин говорит здесь о начале статьи Гоголя «Петербургские записки 1836 года», и что это Гоголя назвал Пушкин «великим меланхоликом». Много лет спустя В. В. Каллаш² выставил свои возражения против мнения Тихонравова. «Петербургские записки», которые были напечатаны в «Современнике» после смерти Пушкина, по мнению критика, «всем своим содержанием относятся к 1836 г., между тем как «Мысли на дороге» пишутся в 1833 — 1834 или 1835 гг.; нет никаких указаний на отдельное существование их начала под названием «Петербург и Москва»; вообще очень щепетильный в своих литературных отношениях, Пушкин не мог дать в приложении к своей статье большого и очень существенного отрывка из статьи Гоголя, предназначенной для «Современника» (тем более, что этот отрывок, повидимому, мог встретить серьезные по тому времени цензурные затруднения, а Пушкин очень хотел

¹ Соч. Гоголя, изд. 10-е, т. V, М., 1889, стр. 655.

² «Пушкин и Гоголь» («Голос Минувшего» 1913 г., сент., 235 — 239).

провести в печать свои «Мысли»). Слово «отыскал», кроме того, совершенно нейдет к только что написанной и переданной Гоголем статье, если статья на точку зрения Тихонравова, немного произвольно отодвигающего оба произведения к 1835 г. Подготовив статью к печати, Пушкин этого отрывка совсем не дал, — может быть вследствие внутренних колебаний. Они, кажется мне, всего скорее могли быть по поводу стихотворного отрывка «Петербург и Москва», принадлежащего кн. П. В. Вяземскому: забавный сам по себе, он отличался не совсем цензурным характером... Тут В. Каллаш привел текст данного стихотворения по рукописи, находящейся в библиотеке харьковского университета; в этой рукописи оно посвящено А. Г. Родзянко и приписано не Вяземскому, а Денису Давыдову: «Оставляя пока в стороне вопрос об авторстве Вяземского или Давыдова, мы», — продолжал В. Каллаш, — «предположительно ставим это стихотворение в связь с «Мыслями на дороге» Пушкина. В тридцатых годах Вяземский то сильно хандрил, то прорывался шутками; слова Пушкина: «один из моих приятелей» и «великий меланхолик» всего скорее могут относиться к нему. «Великий меланхолик» мало приложим к Давыдову, но на него больше, чем на Вяземского, указывают посвящение Родзянке и самая фактура стихов. По содержанию — и начало «Петербургских записок» Гоголя, и это стихотворение одинаково могли примкнуть к «Мыслям на дороге» Пушкина, как заключительный аккорд его сравнения Петербурга с Москвой. Из последнего Пушкин мог дать, конечно, только отрывки».

Самое стихотворение, опубликованное В. Каллашем в качестве новинки, уже было известно в печати,¹ хотя в собрании сочинений его автора, кн. П. А. Вяземского, издатель стыдливо оставил на его месте девственно-

¹ В заграничных сборниках запретных русских стихов, — напр. в «Русс. потаен. литературе», отд. I, ч. I, Лонд., 1861, стр. 193 — 194, «Сравнение Петербурга с Москвой» кн. П. А. Вяземского (не раз перепечатано в известной «Лютне»). Снова напечатано, как «неизданное», в «Литерат. Мысли», альм. II, Пг., 1923, стр. 233 — 235 (текст неполон).

белую страницу.¹ С того самого подлинника, о котором говорил В. Каллаш, оно давно было напечатано Н. И. Черняевым.²

Пушкин говорит в «Мыслях на дороге» о Москве тридцатых годов, о Шевыреве, Киреевском и Погодине, о кружке «любомудров», пропагандировавших германскую философию. Общие признаки, отличающие московскую и петербургскую «культуры» в сатирических стихах, слишком уж общи и оторваны от времени:

Здесь вор в звезде,
Осел в суде,
Дурак везде...
Мужей в рогах,
Девц в родах,
Мужчин в чепцах,
А баб в портках
Найдешь у вас,
Как и у нас,
Не пяля глаз...

Частные же прямо указывают на более раннее время:

У вас Княжнин
У нас Ильин...
У вас Хвостов,
У нас Шатров...

В тридцатых годах уже никто не говорил о А. Я. Княжнине, Н. И. Ильине, Шатрове, и самая поздняя пора, когда могла быть написана пьеса, — начало двадцатых годов (А. Я. Княжнин умер в 1829 г., Н. И. Ильин после 1818 года ничего не печатал, в 1823 году умер). В сочинениях Вяземского она датирована 1822 г.³ Стихи, таким образом, ничуть не гармонируют со статьей Пушкина. Ими он не мог бы заключить свою статью также в виду совершенной их нецензурности — общего антиправительственного духа и грубости неко-

¹ Соч. кн. П. А. Вяземского, изд. гр. С. Д. Шереметева, т. III, Спб., 1880, стр. 289.

² «Русс. Обзор.» 1897, февр., 531 — 532.

³ И. Д. Якушкин читал ее, как новинку, в 1825 г. (Соч. и письма П. Я. Чаадаева, т. I, М., 1913, стр. 362). В рукописном сборнике кн. Н. А. Долгорукова (Соч. кн. П. А. Вяземского, т. III, примеч., стр. VI) она отнесена к 1821 г.

торых выражений. А между тем Пушкин — справедливо говорит В. Е. Якушкин¹ — «много работал над этой статьей и, несомненно, готовил ее для печати». Сунуться в цензуру с приведенными стихами было бы слишком наивно со стороны опытного литератора. С Пушкиным такого греха не могло случиться.

Иное дело — статья Гоголя. Его веселые и остроумные сравнения Петербурга и Москвы — вполне под стать наблюдениям Пушкина. «Московская словесность выше петербургской. Литераторы петербургские по большей части не литераторы, но предприимчивые и смышленные литературные откупщики. Ученость, любовь к искусству и таланты, неоспоримо, на стороне Москвы. Московский журнализм убьет петербургский. Московская критика с честью отличается от петербургской», находил Пушкин. У Гоголя те же мысли в ироническом освещении: «Московские журналы говорят о Канте, Шеллинге и проч., и проч.; в петербургских журналах говорят только о публике и благонамеренности. . . В Москве литераторы проживаются, в Петербурге наживаются».

По мнению В. Каллаша, «Петербургские записки» Гоголя «всем своим содержанием относятся к 1836 г.». Нет, не всем. Дело в том, что «Петербургские записки» состоят из двух частей. Первая посвящена сравнению Петербурга с Москвой, и ничего специфически относящегося к 1836 году в ней нет; вторая — исключительно Петербургу и отчасти несколькими литературным и театральным событиям 1836 г. «Петербургские записки», анализирует их состав Тихонравов,² — состоят из двух отдельных статей, написанных Гоголем в разное время»; первая часть «в первоначальном наброске имела вид дорожных размышлений путешественника»; «мы относим первоначальный рукописный текст оной к 1835 г., когда Гоголь из Петербурга проехал через Москву на родину. . .; дорожные размышления, которыми начиналась статья в рукописи, получают в таком случае реальную основу».³

¹ «Радищев и Пушкин», М., 1886, стр. 17.

² Соч. Гоголя, изд. 10-е, V, 654, 656.

³ Сравн. т. VI того же изд., стр. 595.

В. Каллашу не было известно отдельное существование начала «Петербургских записок» под названием «Петербург и Москва». Но такая отдельная статья была. В черновых бумагах Гоголя обе части первоначального текста «Петербургских записок» находятся в различных записных книгах и ничем между собою не связаны. Первую часть, как самостоятельное целое, Пушкин предназначал для первой книги своего «Современника», и она называлась «Петербург и Москва». Среди документов, принадлежащих Пушкинскому Дому, есть журнал заседания петербургского цензурного комитета 10 марта 1836 г., где рассматривался, между прочим, вопрос о предназначенной для «Современника» статье «Петербург и Москва (Из записок дорожного)». Комитет разрешил ее напечатать, но потребовал, чтобы одни места были переделаны, другие совсем исключены.¹ Значит Пушкин справедливо ссылается на статью «Москва и Петербург» (случайная перестановка имен в заглавии не имеет, конечно, здесь значения).

«Пушкин не мог дать в приложении к своей статье большого и очень существенного отрывка из статьи Гоголя». Но почему же следует думать, что Пушкин непременно должен был дать длинное извлечение? Он мог удовольствоваться двумя-тремя наиболее остроумными и забавными замечаниями Гоголя. Давность, на которую намекает слово «отыскал», очень и очень относительна. Статью, пролежавшую на книжной полке или письменном столе, в груде бумаг, несколько месяцев, тоже ведь приходится отыскивать. К тому же она могла, судя по ее положению среди других чернови-ков,² быть написана и раньше, в 1833 — 1834 гг.; в Москве Гоголь был еще в 1832 г. (два раза). Ясно, что именно о статье Гоголя, впоследствии переработанной и вошедшей в состав «Петербургских записок 1836 г.», говорит Пушкин, что именно Гоголя называет он «великим меланхоликом».

Прозвание — меткое и глубокое. Недаром прилепилось оно так плотно к Гоголю. Не будем только чрез-

¹ «Известия Академии Наук» 1911 г., стр. 514.

² Соч. Гоголя, изд. 10-е, VI, 595.

мерно углублять его смысл. От Пушкина не ускользнули меланхолические черты темперамента молодого Гоголя, который сам говорил о себе впоследствии: «еще бывши в школе, чувствовал я временами расположение к веселости и надоедал товарищам неуместными шутками; но это были временные припадки, вообще же я был характера скорей меланхолического и склонного к размышлению».¹ Однако как писатель Гоголь при жизни Пушкина сказался еще не весь, и великий поэт, несмотря на всю его вдумчивость и наблюдательность, не мог ощущать эти два слова так остро и скорбно, как ощущаем их мы, потомки. Но меланхолический «пафос» души Гоголя Пушкин все же успел достаточно оценить.² Пушкин почувствовал в жути и тоске «Невского проспекта» всю гоголевскую «полноту» («самое полное из его произведений») и, читая «Старосветских помещиков», смеялся «сквозь слезы грусти и умиления». От такой проникновенной оценки недалеко до того глубокого смысла, который позднейшая критика довела до точного соответствия этому незаменимому, единственному определению, этим двум словам — «великий меланхолик». . . И для Пушкина эти слова тоже значили нечто поглубже и посерьезнее, чем просто — «большой меланхолик».

¹ Письмо Гоголя В. А. Жуковскому 29 декабря 1847 г.

² «Простой великий человек, один из простейших, каких когда-либо посылало небо земле... определил самому Гоголю его значение так, что ничто лучше его не умеет выставить «пошлость пошлого человека» (Апол. Григорьев, «Лермонтов и его направление», статья III — «Время» 1862 г., кн. XII, отд. II, стр. 5).

ПУШКИН И ФУТУРИЗМ

Однажды Дельвиг подвел к Пушкину своего семилетнего братца и рекомендовал мальчика поэтом-романтиком. Пушкин пожелал познакомиться со стихами начинающего романтика. Не конфузясь и вложив обе ручонки в руки Пушкина, ребенок торжественно продекламировал:

Индияди, Индияди, Индия!
Индиянда, Индиянда, Индия!

Пушкин погладил поэта по головке, поцеловал его и сказал:

— Он точно романтик.¹

Как похожа эта «Индияди-Индиянда» — не так ли? — на «бобэоби» и «вээоми» Виктора Хлебникова! Правда, Виктор Хлебников, когда писал эти стихи, был гораздо ближе к тридцати семи годам, чем к семи, но разве это не то же самодовлеющее, голое словозвук, под которым гнездится одно «чувство-мысль»: «чего я хочу, — неизвестно»! . .

Увы, ничто не ново под луною, и было время, когда европейский романтизм, — а его застрельщиком был романтизм французский, — вступал в жизнь с теми самыми приемами, которые возродились в дерзновенных итальянских футуристов недавних лет и так комично освобождены от здравого смысла, так свободны от нормального хода вещей, так беспочвенны в скандальных, но все-таки нестерпимо скучных выходках российских футуристов.

¹ Воспоминания А. П. Керн (сборн. Л. Н. Майкова «Пушкин», СПб., 1899, стр. 261).

Россия пушкинской эпохи, конечно, не знала этого явления. От бенедиктовского призыва: «изобретай неслыханные звуки, выдумывай неведомый язык» до футуризма еще было очень далеко.

Но, литературный гражданин Запада, наш великий поэт столкнулся с футуризмом (оговариваюсь: термин принадлежит нашему времени, но не в термине дело) у французов и высказал свое мнение о нем.

Пушкин познакомился с футуризмом в самом источнике его зарождения, в крайностях французского романтизма. Образцом этих крайностей была знаменитая в свое время «повесть» Шарля Нодье «Histoire du Roi de Bohême et de ses sept châteaux». Пушкин написал о ней статью и поместил ее в «Литературной Газете» 1830 г.,¹ главной силой которой был наш поэт. В статье этой, напечатанной без подписи и узнанной нами по ряду признаков, обличающих и литературные суждения, и стиль Пушкина, выразилось его отношение к тем проявлениям романтического протеста против литературной действительности, которые в наши дни отлились в еще более крайнюю и последовательную систему футуризма.

«Правила сбрасываются, как ненужный балласт, препятствующий свободному полету фантазии, провозглашается полная независимость художественного творчества от всякой системы, всякой логики и даже от здравого смысла». Так определяет А. Шахов² французскую романтическую школу конца двадцатых годов. Она исповедывала теорию верховенства абсолютной фантазии поэта, ничем не стесняемой. Власть художника над словом и мыслью была объявлена неограниченной. В своем знаменитом «манифесте» (предисловие к «Кромвелю») Гюго поставил искусству одну задачу — истину. Но пропаганда индивидуализма отвергла и эту задачу. Стали появляться произведения, которым дела не было ни до каких истин, этических

¹ № 55, 28 сентября, стр. 153 — 155. Перепечатана мною в «Русс. Старине» 1913 г., дек., 534 — 542, и включена в Сочин. Пушкина, изд. С. А. Венгерова, VI, 205 — 209.

² «Очерки литературного движения в первую половину XIX века».

или эстетических, произведения, целью которых была, если только это можно назвать целью, словесная игра. Отдельные элементы этого никуда не направленного направления и находятся в обратившей на себя внимание Пушкина книге Нодье. Только отдельные, — потому что Нодье слишком был критичен и ироничен, чтобы всей душой принять новое течение и без оглядки ему подчиниться. Нодье явно смеется над «своими», не меньше, чем над стариками-классиками, и это-то и снискало ему сочувствие Пушкина.

Напрасно было бы стараться найти в странной, романтически растрепанной книге что-нибудь о «Короле Богемском» и его замках. Но зато, дав волю своему юмору, он сумел показать романтикам, к чему приводит пользование безграничной «свободой творчества». Нодье — передает оригинальное впечатление, производимое его книгой, Брандес¹ — «словно одержим фантастическим своеволием и в рассказе уже не довольствуется тем, что вверх ногами ставит все обычные представления, но играет даже теми отношениями, в какие ставит сам себя к рассказу, насмехается над современниками, позволяет себе тысячу намеков, философствует на тему об иллюзиях бытия, и все это с помощью голой формы изложения». Книга Нодье, если бы только не дьявольская ирония автора, — настоящий футуристский идеал: в ней нет никакого содержания, но зато есть безграничная смелость обращения со словом. Оно становится необычайным, необузданным, диким. Какой-нибудь расейский «Садок судей» — сущий пустяк в сравнении с «бурей и натиском» Нодье. Он в целях внешней изобразительности опрокидывает типографию потолком книзу.²

¹ «Литература XIX века в ее главных течениях. Французская литература». Перев. Э. Зауэр, СПб., 1895, 2-ая пагин., ст. 43 — 44.

² Таким образом в нашу эпоху глава итальянского футуризма Ф. Т. Маринетти в одном из своих «манифестов» напрасно хвалился: «я предпринимаю типографскую резолюцию... Мы будем употреблять на одной странице 3 или 4 разноцветных чернил и 20 шрифтов, если это необходимо. Напр., курсив для ряда схожих и быстрых чувствований, жирный шрифт для грубых звукоподражаний и т. д. Новая (?) мысль страницы типографноживописной». («Манифесты итальянского футуризма», перев. В. Шершеневича, М., 1914, стр. 65).

«Я спустился по семи ступенькам лестницы» у него передано так:

Я
спустился
по
семи
ступенькам
лестницы.

Читатель таким образом «видит лестницу». Когда герой говорит, что у него чулок был выворочен наизнанку, а левая нога попала не в туфлю, сие событие изложено в строках, тоже вывороченных соответствующим образом:

«онфл олвян в глнл в лон
олявг в 'лнннннн ннноророряч глбл жолуь иччавлгшш ил»

Автор ставит себе в заслугу, что располагает буквы
«п о - н о в о м у

или подчиняет строки столь
странному расположению,
вернее, так безумно
причудливому».

Перечень насекомых, на которых властитель Томбукту, добрый царь Попокамбу, разрешил кому-то безданно-беспошлинно охотиться во всем своем царстве, занимает пять страниц в таком роде:

Sphynx,
Phalènes,
Noctues,
Noctuelles,
Bombyces,
Pyrales,

и т. д., и т. д. Вообще Нодье умел показать, что значит не стесняться чувством меры. Вот как передает он дребезжание и скрип почтового дилижанса, останавливающегося у станции:

— Pif paf piaf patapan.
Ouhiyus, ouhiyus. Ebrohé, broha, broha. Ouhiyus, ouhiyus.
Ноé бу. Длэ буран. Тза тза тза.

Clà clà clà. Vli vlian. Flic flic. Flaflaflac.
 Tza tza tza. Psi psi psi. Ouistle.
 Zou lou lou. Rlurlurlu. Ouistle.

и т. д. на протяжении целой страницы, составляющей особую главу. До этого, согласитесь, даже позднейшим футуристам далеко.

Книга Нодье вышла в 1830 г. и скоро очутилась на письменном столе Пушкина, который внимательно следил за литературной жизнью Запада; в «Литературной Газете» он писал о Ж. Жанене, Гюго, Сент-Беве. Книга Нодье заставила его взяться и на этот раз за перо, и он воспользовался случаем высказать свое отношение и к самой школе французских романтиков, и к ее крайностям, в которых мы в наши дни узнаем черты теперешнего футуризма.

«Нынешняя «романтическая» французская литература» — говорит Пушкин — «взяла какое-то странное направление. Неясное, неопределенное (*la vague*) как будто бы сделалось ее символом и правилом. В трагедиях новейшей французской школы мы видим одни формы, одну резкую новость выражений, произвольное изменение благозвучного Расиновского стиха в стих более свободный, но зато и более шероховатый, — и напрасно ищем отчетливости в создании, напрасно ищем характеров. Сие же можно применить, с необходимыми исключениями, и к новейшим повестям или небольшим романам, изданным в последние годы во Франции, как, напр., «*Le dernier jour d'un condamné*», «*L'Ane mort et la femme guillotinée*», «*La Confession*» и т. п. Кажется, образцами их, хотя и отдаленными, были повести Гофмана, Тика и других новых немецких писателей. Книжка, которой заглавие выставлено в начале сей статьи, написана не совсем в этом роде: она более сбивается на какую-то аллегорию; но неясность цели автора, придуманные им заглавие и форма сочинения и безотчетность целого по праву дают книжке сей место между теми, о коих мы упомянули выше.

В одном из парижских журналов нынешнего года помещен был остроумный разбор сего нового произведения г. Нодье, представленный в виде разговора двух

читателей. Выписываем сей разбор и по его оригинальности, и по сходству наших мнений насчет разбираемой книги с мнениями французского критика».

Затем Пушкин приводит заимствованную из парижского журнала беседу двух читателей. Это не тот обыкновенно встречаемый в газетной критике и полемике диалог двух собеседников, один из которых говорит глупости, а другой осыпает его и читателей перлами мудрости. Разговор этот во всех репликах полон остроумия, непринужденности и живости.

Один собеседник заявляет с притворной наивностью, что совсем не понял двух героев.

— На это дам вам ответ, когда вы растолкуете мне ясно и точно, что такое «классическая», и что «романтическая» школа.

Одному «История» вообще не понравилась.

— На вас трудно угодить; а это ведь сатира во вкусе Рабле.

— Везде я слышу ту же похвалу; может быть, она очень справедлива; но зачем же нынче писать сатиры во вкусе Рабле? Когда можно ясно выразить свою мысль обо всем, то зачем хлопотать из того, чтобы быть темным?

— Скажу вам еще однажды: такая форма гораздо заманчивее. К тому же сатира не должна указывать слишком прямо: ей должно прятаться под покрывалом, из-за которого каждый волен узнать себя или своего соседа.

— Так, по вашему мнению, всему есть свой смысл в том сочинении, о котором мы рассуждаем? Это большая загадка, которую должны изощряться и догадливость, и терпение всех любопытных?

— Да, я так думаю.

— С моей стороны я радуюсь тому. Мне приятно будет со временем узнать, кто таков Король Богемский. Мы также узнаем, что значит туфель Попокамбу, которому г. Нодье посвящает три или четыре главы, больше наскучившие мне, нежели выведшие меня из терпения. Мы узнаем, зачем он так часто приискивал по сотням эпитетов к одному слову; зачем он симметрически нанизывал по столько гласных, которые сталки-

ваются между собою и ничего не говорят уму. Зачем он наполнял сряду девять страниц именами насекомых, как, напр., *phalènes, noctues, bombyces, pyrales, zygènes, alucites, hepiales, ptérophores, libellules, ascalaphes, hémégobes, myrmiléons* и пр., и пр.; зачем он в разных местах набирал по стольку же имен собственных; зачем он тысячу раз принимался за такие же выходки, которые кажутся вечным повторением одни других, и из которых одной было бы очень достаточно для сатирической его цели: а такая цель верно у него была.

— Была ли у него цель? Можно ли в том сомневаться? Такой остроумный и сметливый человек как г. Нодье, не написал бы пятидесяти или шестидесяти страниц из одного только удовольствия — низать слова одни к другим.

— Признаюсь это меня удивляет; а все мне кажется, что я прав. Есть еще и другое удовольствие, которое могло льстить сочинителю: то, чтобы видеть, как люди умные, с глубокою проницательностью (как вы, сударь), станут ломать себе голову, отыскивая смысл в словах или сказках, которым он не хотел придать никакого смысла. Не находите ли вы, что он отчасти выказывает это безжалостное намерение, заставляя вас призадуматься над тою велемудрою главою, которая начинается сими словами: «*Pif, raf, piaf, patapan — Ouhiiyns, ouhiiyns. — Ноé, hu. Dia hurau. Fra, tza, tza, tza*»? Объясните мне, на милость, эти слова.

— Ясное дело, что им нельзя дать никакого объяснения. Автор хотел здесь позабавиться над теми писателями, которые воображают, что они и глубоки, и высоки, когда умели сделаться непонятными.

— Этого достоинства нельзя отвергать и в «Истории о Богемском Короле».

— Главная прелесть этой книжки, — замечает второй, — в удачном и смелом смешении веселости, воображения, ума и учености, где сочинитель слегка и мимоходом коснулся множества разных вопросов и предметов; где найдешь и замысловатые аллегории, и тонкие, едкие насмешки наряду с учеными рассуждениями и очаровательными мечтами.

— Грация, сила, тонкость, свежесть, ученость — все

это в самом деле есть в этой книжке; только в такой смеси и с такою небрежностью, которые странным образом бросаются в глаза, потому что они — следствие расчета и принятого намерения, а не полной свободы воображения. Кажется, будто видишь васильки, розы и лилии, украшение садов, брошенные с намерением в клумбу, в которой нарочно посажены волчцы, репейник и крапива.

— Нам трудно будет согласиться.

— И мне так кажется. Со всем тем, мы согласны уже в одном.

— В чем же?

— В необыкновенном таланте автора.

С этим заключением явно согласен был и сам Пушкин. Его не только заняла и позабавила оригинальная, свежая книга Нодье, но по поводу ее он высказал несколько серьезных, важных мыслей. Глава русского романтизма¹ с осуждением отнесся к «футуристическим» крайностям французского — и это не в первый и не в последний раз. Жалобам Пушкина на преобладание у французских романтиков «одних форм, одной резкой новости выражений», на отсутствие «отчетливости в создании» и «характеров», на все эти формальные и внутренние недостатки их школы, вполне соответствуют другие его же жалобы. «Делорм слишком много придает важности нововведениям так называемой романтической школы французских писателей, которые сами полагают слишком большую важность в форме стиха». . . (статья о Сент-Беве). «Стих стал у них более свободным и более шероховатым», — около того

¹ Пушкин не оставил своего определения романтизма, но из всех встречающихся у него употреблений этого термина видно, что под романтизмом он разумел то новое направление в искусстве, которое освобождало творца от оков обветшавших теорий, но не отвергало только одной теории — полной поэтической свободы. Строго-последовательный, он даже предлагал отказаться от всяких попыток дать романтизму какое-нибудь определение, основанное на внутренних признаках. В этом общем (и единственном для него и им приемлимом) смысле мы называем его главою русского романтизма, чем, понятно, не исчерпывается его значение в истории русской литературы. Он судил романтиков в России, как Нодье, сам романтик, — во Франции.

же времени Пушкин писал об этой эволюции «благозвучного Расиновского стиха» (в «Домике в Коломне») не без сочувствия, но не мог понять принципа независимости формы от содержания. Его трезвая мысль и верное поэтическое чувство требовали их гармонического сочетания.

В другой раз («Мысли на дороге») Пушкин с пренебрежением говорил о писателях, «которые пекутся более о наружных формах слова, нежели о мысли, истинной жизни его», и которых за это ожидает заслуженное забвение. Пушкина всегда смущало у французских романтиков «неясное, неопределенное», которое он, со своей беспощадною ясностью честного во всем ума, считал не необходимым и нарочитым. Он осуждал того поэта, который «систематически» говорил себе: «*soyons extravagants*» и «истинное вдохновение» (статья о Сент-Беве) заменял надуманными странностями; Пушкин называл это — «фиглярствовать странностями» («Мысли на дороге»). Признавая талант каждого в отдельности из крупных французских романтиков, Пушкин осуждал самую школу за неясность ее художественных стремлений, за ту «безотчетность целого», которая тщетно старается скрыть от зоркого глаза отсутствие внутренней цельности. Бородинского наш поэт высоко ставил за то, что «никогда не старался он малодушно угождать господствующему вкусу и требованиям мгновенной моды, никогда не прибегал к шарлатанству, преувеличению (*exagération*) для произведения большего эффекта, никогда не пренебрегал трудами неблагодарными, редко замечаемыми, трудами отделки и отчетливости», — не взирая на то, что «верность ума, чувства, точность выражения, вкус, ясность и стройность менее действуют на толпу, нежели преувеличение (*exagération*) модной поэзии».

Всёцело присоединяясь к мнению французского критика, что в подобных путях не свобода видна, а именно рабское подчинение расчету, великий поэт указал нам, что вне связи с трудом, здравым смыслом и историческим ходом вещей не может быть свободы в литературе, как не может быть ее ни в чем. Однако, возражая против шарлатанства и фиглярства, Пушкин

не был априорным отрицателем нового направления, и не был неправ позднейший критик, сказавший, что со временем, «когда будет вскрыто истинное значение нашего футуризма, станет ясно, что основное его устремление тоже не было чуждо Пушкину». ¹ Читатель помнит, конечно, как изменился мир в обожженных взглядах красавицы глазах художника Пискарева («Невский проспект» Гоголя): «тротуар неся под ним, кареты со скачущими лошадьми казались недвижимы, мост растягивался и ломался на своей арке, дом стоял крышею вниз, будка валилась к нему навстречу, и алебарда часового, вместе с золотыми словами вывески и нарисованными ножницами, блестела, казалось, на самой реснице его глаз». Настоящая футуристическая картина! Такой картины, какую увидел здесь Гоголь очами своего героя, ни разу не набросал Пушкин, но и он мечтал о блаженстве выхода из узкого круга обычных восприятий:

Я пел бы в пламенном бреду,
Я забывался бы в чаду
Нестройных, чудных грез...

Один поэт, близко знавший Пушкина, рассказывал, что иногда он «принимался слагать в уме странные стихи — умышленную, но гениальную бессмыслицу. Сколько мне известно, он подобных стихов никогда не доверял бумаге.»

¹ В. Я. Брюсов, «Пушкин-мастер» («Пушкин». Сборник I. Изд. Пушк. Комиссии Общ. люб. росс. словесн., М., 1924, стр. 114). «В пору современных споров еще не настало время говорить об этом», прибавил поэт-теоретик.

² Барон Е. Ф. Розен, «Ссылка на мертвых» («Сын Отечества» 1847 г., № 6, отд. III, стр. 27). Следует отметить, что рассказано это именно в связи с отношениями Пушкина к Гоголю, «странности» и «отвратительные бессмыслицы» которого пленяли Пушкина, чего никак не мог понять наивный Розен,

ЗАМАСКИРОВАННЫЙ ПУШКИН

«Отзывался часто Пушкин из могилы»... Не раз отзывался он и в наше время. Бóльшую часть это текстуальные приобретения, пополнившие неизвестными прежде материалами свод творений Пушкина. Но бывают иные розыскания, не материального характера, не приносящие никаких новых текстов, но все-же дающие нечто новое, изменяющие наши представления о поэте и даже ставящие некоторые его произведения на другое место, выше того, которое они занимали раньше. Освещенное новым светом, то или иное произведение, которому прежде придавалось меньшее значение, является в известном смысле новым. Так установление правильного расположения сохранившихся листков уничтоженной поэтом 10-й главы «Онегина», о декабристах, дало возможность верно понять отношение Пушкина к двум главным декабристским группам, северянам и южанам. К подобным редким случаям принадлежит и тот, на который я хочу обратить теперь внимание читателя.

Вскоре после смерти Пушкина вышел пятый том основанного им «Современника», в котором были напечатаны «Медный всадник», несколько стихотворений, «Сцены из рыцарских времен» и две статьи, в том числе — «Последний из родственников Иоанны д'Арк». Эта статья, которая с тех пор помещается во всех изданиях сочинений Пушкина, по форме не что иное, как реферат, где излагается сообщение английского журнала «Morning Chronicle».

Пушкин рассказывает, что в Лондоне в 1836 г. умер, не оставив детей, некто Жан-Франсуа-Филипп Дюлис, потомок родного брата Иоанны д'Арк, и что среди его

бумаг были найдены и проданы с аукциона замечательнейшие исторические документы, между прочим переписка отца покойного Дюлиса с Вольтером. Узнав около 1767 г., что некий господин де-Вольтер издал сочинение об орлеанской героине, Дюлис купил голландское издание «Девственницы», возмутился «дерзкими, злостными и лживыми показаниями» Вольтера и послал ему формальный вызов на дуэль. Вольтер, испугавшись скандала, «а может быть и шпаги щекотливого дворянина», ответил Дюлису весьма учтивым письмом. В нем Вольтер уверял Дюлиса, что «никаким образом не участвовал в составлении глупой рифмованной хроники,» что упомянул об Иоанне д'Арк один-единственный раз, в «Генриаде», где прославлял «храбрую амазонку, которая посрамила англичан и была опорой трона», и выразил вдобавок сожаление, что «не посвятил слабого своего таланта на прославление божьих чудес вместо того, чтобы трудиться для удовольствия публики, бессмысленной и неблагодарной». Окончил Пушкин свой реферат извлеченными из того же издания замечаниями английского журналиста, в которых прославлялся подвиг спасительницы Франции и клеймилась «малодушная неблагодарность французов». Англичане, по мнению английского журналиста, «хоть что-нибудь да сделали для памяти славной девы, наш лауреат посвятил ей первые девственные порывы своего (еще не купленного) вдохновения», французы же оскорбили ее устами Вольтера. «Жалкий век! жалкий народ!» Этим негодующим восклицанием английского журналиста по адресу французов завершается статья.

При мало-мальски внимательном чтении всякому, кто сколько-нибудь знаком с литературой предмета и более или менее знает Пушкина, бросается в глаза ряд странностей. Начать с того, что ни вольтеровская библиография, очень тщательно собранная французами, ни библиография литературы об Иоанне Дарк, которую тоже стали собирать уже давно, не знают ни статьи «Morning Chronicle», ни переписки Вольтера с Дюлисом, приведенной Пушкиным. След документов, относящихся к Иоанне Дарк, да еще проданных в английской столице «с публичного торга» за весьма до-

рогую цену», также не мог бы совершенно затеряться. В своем письме к Вольтеру потомок Иоанны сообщает о себе, что происходит по прямой линии от родного ее брата, Луки д'Арк дю Ферона. Между тем, очень хорошо известно, что род Дюлисов (du Lys), потомков братьев Иоанны, никогда притом не носивший двойной фамилии «д'Арк Дюлис», угас еще в XVII веке. Английский журналист сетует, что «ни одного д'Арка или Дюлиса не видно при дворе французских королей от Карла VII до самого Карла X». И это странно: один из последних Дюлисов, Шарль, живший в XVI—XVII вв., писатель и юрист, гордившийся своим происхождением и написавший несколько книг о своем роде и его знаменитой представительнице, занимал должность королевского советника, а другой, Лука, был в первой половине XVII века секретарем короля. К тому же у Иоанны не было брата Луки, да еще с прозвищем «сеньер дю Ферон», а братья ее, получившие, как и она сама, дворянство и фамилию du Lys (от лилий королевского герба), звались Жан и Пьер. Приходится заключить, что все сообщенные Пушкиным показания неверны, что в 1836 г. никакой Дюлис умереть не мог просто потому, что никогда и не существовал, и что, значит, никогда не существовал и его отец, а потому и Вольтер не мог получить от потомка Иоанны Дарк вызова на дуэль, и стало быть, не имел повода отказываться от своей поэмы. Впрочем он еще и потому не мог поступить таким образом, что с 1755 г. вышел ряд изданий «Девственницы» (одно он сам выпустил в Женеве в 1762 г.), и авторство его, хотя не обозначенное тогда на книге, было слишком хорошо известно всей читающей Европе. Даже Пушкину, как известно, не удалось начисто отречься от «Гавририады», хотя она не печаталась и была в те времена доступна сравнительно немногим. Надо при этом заметить, что если бы Вольтеру действительно пришлось оправдываться перед родственником Иоанны Дарк, то у него в этой игре был лучший козырь, чем цитата из «Генриады». Дело в том, что стихи об Иоанне в «Генриаде» вовсе не единственный лестный отзыв его о ней. Он, конечно, не преминул бы вспомнить то, что сказал

о ней в своем «Опыте о нравах»; «ей ставили бы алтари, если бы она жила в те героические времена, когда люди воздвигали алтари в честь своих освободителей». Неужели Вольтер мог забыть этот отзыв, полный восхищения? Нельзя поверить и тому, что в таком степенном, серьезном английском журнале, как «Morning Chronicle», могло быть сказано о поэте-лауреате (в Англии люди, занимающие это место, всегда пользуются чрезвычайным общественным почетом), что он торгует своим вдохновением.

Жалоба Вольтера на «бессмысленную и неблагодарную» публику слишком подозрительно напоминает давние слова самого Пушкина в «Черни» (1828 г.): «молчи, бессмысленный народ», а также признание самой черни: «мы... неблагодарны» (тут вспоминается также мнение Пушкина о русской публике в письме к Гнедичу 13 мая 1823 г.).

Но есть в статье английского журналиста и более подозрительные места. «Новейшая история» — негодует он — «не представляет предмета более трогательного жизни и смерти Орлеанской героини. Что же сделал из того Вольтер, сей достойный представитель своего народа? Раз в жизни случилось ему быть истинно поэтом, и вот на что он употребляет вдохновение. Он сатаническим дыханием раздувает искры, тлевшие в пепле мученического костра, и как пьяный дикарь пляшет около своего потешного огня». И с горечью английский журналист вспоминает как «преступная поэма» была встречена современниками: «все с восторгом приняли книгу, в которой презрение ко всему, что почитается священным для человека и гражданина, доведено до последней степени кинизма». Если допустить, что английский журналист действительно написал это, то придется признать, что он в 1836 году был знаком с рукописными, неопубликованными сочинениями русского автора и читал следующие строки Пушкина о Вольтере, которые появились в печати почти через полстолетия после смерти нашего поэта.¹ «Наконец и он однажды в своей старости ста-

¹ «Русс. Старина» 1884 г., декабрь, 522.

новится истинным поэтом, когда весь его разрушительный гений со всею свободой излился в циничной поэме, где все высокие чувства, драгоценные человечеству, были принесены в жертву демону смеха и иронии» (так называемая статья «О русской литературе, с очерком французской»). О поэме Соути «Иоанна Дарк» английский журналист, ставящий ее все-таки ниже поэмы Вольтера «в отношении силы вымысла», говорит: «Творение Соути есть подвиг честного человека». И тут не менее удивительно повторено давнее выражение Пушкина, который три раза писал об «Истории» Карамзина: «История Государства Российского есть не только произведение великого писателя, но и подвиг честного человека» («Записка о народном воспитании», «Отрывки из писем, мысли и замечания»; также в одном наброске, где Пушкин защищает Карамзина от нападок «молодых якобинцев»).

Слишком очевидно, что Пушкин приписывает небывалому иностранцу свои собственные слова, что никаких писем Дюлиса и Вольтера с замечаниями «английского журналиста» он нигде не читал, и что вся статья от начала до конца представляет собою плод его собственного воображения и вдохновения. Подлинная рукопись статьи¹ свидетельствует о работе не переводчика, а автора, в ней есть поправки, хотя она написана чисто,² и еще яснее говорит об этом хранящийся в Ленинградской Публичной Библиотеке,³ обрывок листка, на котором набросана черновая редакция конца статьи: для простого перевода Пушкину не понадобилось бы писать сначала начерно, а потом набело. Окончательным же, совершенно решающим вопрос (если для кого-нибудь здесь еще остается хоть тень сомнения) подтверждением такого авторства Пушкина служит сообщение его друга А. И. Тургенева, который внес в свой дневник,⁴ что 9 января 1873 г. Пушкин читал

¹ Румянц. муз. (Госуд. Ленинская Библиотека в Москве), № 2386 — А.

² «Русс. Стар.» 1884, дек., 531.

³ См. ее «Отчет» за 1889 г. стр. 57.

⁴ Напечат. П. Е. Щеголевым в 3-м изд. Дуэли и смерти Пушкина», 1928 г., стр. 285.

ему «свои *postiche* на Вольтера и на потомка *Jeanne d'Arc*». От Тургенева Пушкин не утаил, что это *postiche*, т. е. подделка. Статья начинается сообщением о смерти Дюлиса «в прошлом 1836 году», а Тургеневу Пушкин читал ее 9 января 1837 г., значит она была написана в начале января, в дни относительного «затишья» в бурной драме, разыгрывавшейся тогда в душе и в доме поэта, за несколько дней до свадьбы Дантеса и Е. Н. Гончаровой.¹

Мистификация вообще не была чужда Пушкину. Явно гордясь своим стилизаторским искусством, он однажды вручил П. В. Киреевскому пачку народных песен и при этом сказал: «когда-нибудь, от нечего делать, разберите-ка, которые поет народ, и которые смастерил я сам». И этот многоопытный знаток признавался, что задача оказалась ему не по силам (вопрос, сказать кстати, до сих пор еще не разрешен вполне). Одно из самых задушевных лирических признаний своих Пушкин приписал совсем неизвестному в России итальянскому поэту Пиндемонте (сначала было Альфреду Мюссэ), глубоко-интимное стихотворение «Ильганы» (1830 г.) выдал за перевод с английского. Известно, как сильно занимала его мистификация Меримэ, который так счастливо и плодотворно «подвел» его, результатом чего явился цикл «Песен Западных Славян». В его библиотеке была книга Шарля Нодье «Вопрос о легальной литературе», в которой немало говорится о литературных подделках (Нодье и сам был мастером на такие подделки).

Пушкиным, когда он создавал свою последнюю мистификацию владело несомненно глубоко-личное чувство. Недаром он хотел лишь под маской поделиться с читателем своими заветными мыслями. Вольтер у него отрекается от «Девственницы», как он сам когда-то пробовал отречься от «Гавриилиады». Несколько месяцев тому назад, в третьем томе «Современника» он поместил статью о Вольтере, в которой

¹ К такому же выводу пришел и проф. Н. К. Козмин, также занимавшийся исследованием истории этой замечательной статьи, да и никто не мог бы решить иначе этот элементарно легкий вопрос, где за оригинальное авторство Пушкина говорят все аргументы, и нет ни одного против него.

писал: «Вольтер во все течение долгой своей жизни, никогда не умел сохранить своего собственного достоинства... Вольтер и в старости не привлекал уважения к своим сединам: лавры, их покрывающие, были обрызганы грязью... Он не имел самоуважения и не чувствовал необходимости в уважении людей. Зачем ему было променивать свою независимость на милости государя, ему чужого, не имевшего никакого права его к тому принудить?.. Настоящее место писателя есть его ученый кабинет... независимость и самоуважение одни могут нас возвысить над мелочами жизни и над бурями судьбы». Эти слова читаются как скрытый упрек Пушкина самому себе. «Усталый раб» запутанных обстоятельств и государя, который, ввы, легче мог держать его в неволе, чем Фридрих II Вольтера, Пушкин, когда писал эти горькие строки, думал о себе самом, казня себя за утрату независимости, мечтая вырваться из опостылевшего Петербурга, избавиться от тяжких оков царской милости, от жизни не по средствам, от долгов, от тысячи всевозможных, ненужных и мучительных связей и отношений. Раскрывшаяся перед нами мистификация рисует также удивительную силу его писательского темперамента. Когда набрасывались эти страницы, с которых глядит на нас подлинное, теперь уже без маски, лицо автора, Пушкин, «с отвращением читая жизнь свою», в то же время наслаждался творческой работой. Самый замысел — столкнуть сухого отрицателя и разрушителя Вольтера с вымышленным Дюлисом, этим наследственным романтиком, в традициях воспитанным и призванным охранять традиции, — полон истинного драматизма. И как чудесно стилизованы их письма! Вольтер — как живой со своей внешней уклончивостью, со своим насмешливым лукавством: нельзя не поверить, что, если бы в жизни Вольтера в самом деле был подобный случай, он написал бы именно то, что подсказал ему в своем вымысле Пушкин. Кроме того, статья говорит, как умел иногда Пушкин входить в себя. «жить один», стойко бороться с житейскими невзгодами: ведь она писалась в те дни, когда он был травим врагами как зверь, осаждаем кредиторами, когда разыгрывалась его

семейная драма, когда его сердце каждый день исходило кровью. Измученный, он однако не падал духом и был полон надежд. По словам В. И. Даля за три дня до смерти он сказал: «Я только что перебесился, я буду еще много работать». Но рок судил иначе...

Замечания «английского журналиста», которыми поэт сопровождал выдуманную им ситуацию, совершенно точно передают мысли тогдашнего Пушкина, Пушкина 30-х годов, о некоторых вопросах жизни, о назначении писателя, о литературе. Еще года за два, за три до того он писал, что «немецкая философия спасла нашу молодежь от холодного скептицизма французской», а в 20-х годах он не особенно участливо отнесся к молодым московским любомудрам-шеллингианцам. Давно миновали те времена, когда он видел в «Девственнице» Вольтера только «книжку славную, золотую, незабвенную, катехизис остроумия», когда он дарил на память другу эту «святую библию харит». Вольтер долго занимал его воображение. Еще в 1825 г. он набросал начало перевода этой самой «Девственницы», так повлиявшей в свое время на «Монаха», «Руслана» и «Гавриилиаду», и собирался переложить одну фривольную сказочку Вольтера. Когда-то он сам принадлежал к той молодежи, которая, по выражению Рылеева, читала «Pucelle» и швыряла святцы под постель, а теперь он в своем «Современнике» хвалил «Словарь о святых, прославленных в Российской церкви», и благочестивые размышления Сильвио Пеллико «Об обязанностях человека». В своих черновиках он любил рисовать Вольтера — то во фригийском колпаке, то в парике, то таким, каков он в знаменитом бюсте Гудона, — а теперь Вольтер казался ему опасным развратителем, и быть может именно о Вольтере говорит он в одном неконченном наброске (1834 — 1836 гг.), вспоминая, что в ребячестве «встретил старика с плешивой головой, с устами, сжатыми наморщенной улыбкой», и «старцу в сеть попал»... Мало чем так ярко знаменуется поворот Пушкина вправо, как этой переменной его отношения к бывшему своему учителю и властителю юношеских дум, особенно сильно сказавшейся в занимающей нас статье о

последнем родственнике Иоанны Дарк. Ныне, когда доказана полная независимость Пушкина в ней от какого бы то ни было литературного источника, и определилась ее крупная художественная и биографическая ценность, она приобретает совершенно особое значение и должна занять новое, высокое место среди вполне самостоятельных творений нашего великого писателя.

ПУШКИН И „ЦАРСКИЕ СОБАКИ“

(Забытый отклик на смерть поэта)

Те или иные отношения к Пушкину спасут от совершенного забвения целый ряд имен небольших поэтов его эпохи, в том числе имя барона Егора Федоровича Розена (1800 — 1860 гг.). Он так давно и глубоко забыт, что не попал ни в старую хрестоматию Гербеля «Русские поэты», ни в сборник «Поэтов Пушкинской поры», изданный в наше время Юрием Верховским, и если его иногда вспоминают, то лишь с самой невыгодной для него стороны — как автора неудачного либретто к опере Глинки «Жизнь за царя». Но в двадцатых и тридцатых годах имя Е. Ф. Розена часто встречалось в печати, где появлялись его лирические стихи, критические статьи и громоздкие драмы. Он участвовал во многих журналах и альманахах и сам издавал альманахи: «Альциона» (1831, 1832 и 1833 гг.) и «Детское Село» (1830 г. вместе с другим поэтом, Н. М. Коншиным). Прибалтийский немец, поздно выучившийся русскому языку и получивший солидное классическое образование, он крепко любил русскую литературу и особенно ценил в ней романтическое направление. С Жуковским и Пушкиным он был в довольно близких дружеских сношениях, и Пушкин, напечатавший в его «Альционе» «Пир во время чумы», по своему симпатичному обыкновению ставил его как поэта гораздо выше, чем следовало. Они были между собой в переписке, в которой преобладали литературные интересы; впрочем она дошла до нас не вся. Розену принадлежат три критические статьи о Пушкине. В пер-

вой книге своего «Современника» 1836 г. Пушкин поместил весьма интересную статью его «О рифме».

У Розена есть несколько стихотворений, посвященных Пушкину, и это быть может самые лучшие, самые теплые стихи, вышедшие из-под его пера, обыкновенно тяжелого и неуклюжего. В 1831 г. он приветствовал великого поэта, недавно женившегося и вступившего на новый жизненный путь, восторженной одой на день его рождения, написанной под влиянием пушкинской «Мадонны»:

В дни соловья, во дни утех и цвета,
Когда с небес слетают счастья сны,
Есть празднество, великое для света:
Как торжество, как лучший день весны,
Мы празднуем рождение поэта,
Чьей жизнью мы все оживлены!..¹

Известно также стихотворение Розена, внушенное воспоминанием о Пушкине: «Могила Пушкина»:

Под сению Орфеевой могилы,
Во Фракии пустынной, соловей
Найдем глубокой, чудной силы
Пел жалобней, и слаще, и звучней.
Я понимаю древнее преданье:
Трагическая смерть певца, в глуши
Смирный гроб...²

Трагической кончине Пушкина Розен посвятил еще одно стихотворение. Библиографам и биографам оно осталось неизвестно и нигде ими не отмечено. Между

¹ «Письма Пушкина и к Пушкину», ред. и прим. Валерия Брюсова, изд. «Скорпион», М., 1903, стр. 97—99.

² «Сын Отечества» 1847 г., т. II, кн. 3, отд. III, стр. 1—2. Сохранилось известие еще об одном стихотворении Розена, написанном тотчас после смерти Пушкина. «В стихах этих» — рассказывает современный слушатель (В. П. Бурнашев—«Русс. Арх.» 1872 г., ст. 1814) — «была страшная кутерьма, представлявшая смесь мифологии греческой с славянской, германского мистицизма и русского молодечества, исторических воспоминаний и биографических подробностей о Лицее, о Крыме, Кавказе и обо всем на свете. Все вместе был громкий набор фраз и слов трескучих и эффектных, и стихом трудно вырубленным, то рифмованным очень резко, то белым, то гексаметром, но в этом хаосе искрились две-три счастливые мысли, которые впрочем всего менее привлекали внимание самого автора, а подмечались только слушателями».

тем оно имеет значительную ценность для характеристики обстоятельств, в которых погиб Пушкин, и в наши дни, когда эта трагедия пользуется особым вниманием и уже так ярко освещена исторической критикой, приобретает даже особенно знаменательный интерес. Сравнив Пушкина с Орфеем, растерзанным толпой, преданной культу, которого чуждался певец, Розен применил к Пушкину еще одно классическое сравнение, которое заимствовал из преданий об Эврипиде, последние годы своей жизни проведем, подобно Пушкину, при царском дворе. Краткое и глухое предание это говорит, что Эврипид был разорван стаей борзых царя Архелая, которых натравили на поэта придворные.¹

В 1846 году Розен поместил, за полной своей подписью, в журнале «Литературная Газета», который издавал тогда А. А. Краевский под редакцией Н. А. Полевого, следующее стихотворение:

Э В Р И П И Д

Он Эллин был — счастливый гражданин,
 Краса и честь блистательных Афин!
 Великий царь, изящного любитель,
 Позвал поэта в царскую обитель.
 Но там затмились светлые часы,
 И горшее из зол судьба насладе:
 Певца заели Архелая псы,
 И молния на гроб его упала!²

Стихотворение сопровождалось следующим примечанием: «Известно, что знаменитый трагический поэт Эврипид, находясь при дворе Македонского царя Архелая, был растерзан царскими собаками, и что на его гроб упала молния. Последнее из сих обстоятельств имело впрочем у древних значение совершенно противоположное нашим понятиям».

Примечание попадало, как говорится, не в бровь, а прямо в глаз. Иной, не очень проницательный читатель

¹ «Вакханки». Трагедия Эврипида. Перевод и три экскурса Иннокентия Анненского. СПб., 1894, стр. XXXI.

² «Литературная Газета» 1846 г., № 1, отд. III, стр. 1.

может быть и не разгадал бы сразу, куда метит пьеса, и не сблизил бы кончины греческого трагика с кончиной русского поэта, но примечание не оставляло на этот счет никаких сомнений. Указания на «наши понятия» и ядовитый курсив неизбежно наталкивали на сопоставление. В условиях тогдашней цензуры большего нельзя было сделать, да и не надо было. Все здесь ясно. Поэт «растерзан царскими собаками», — вот как погиб Пушкин. «На его гроб упала молния», — это знамение у древних иногда считалось торжественным проявлением благосклонности высших сил, самым величавым выражением почета, но «по нашим понятиям» оно должно означать не то, и в этих словах Розена заключается прозрачный намек на меры, принятые правительством по отношению к праху и памяти поэта. Вспомним, что Пушкина отпевали при избранной публике, которую в церковь пускали по билетам во избежание скопления «черни», что на прилегающих к его дому и церкви улицах были расставлены полицейские пикеты, и что его тело было потаенно увезено ночью из столицы, что некоторым журналистам были сделаны выговоры за сочувственные некрологи, и печати вообще было внушено в статьях о Пушкине поддерживать «надлежащую умеренность и тон приличия». . . Розен конечно знал все это и знал еще многое, чего вероятно не знаем мы, так как был своим человеком не только в литературных и светских кругах, но и при дворе, занимая должность личного секретаря при наследнике престола, на которую провел его покровительствовавший ему Жуковский, несомненно посвященный в самые щекотливые и интимные подробности трагедии.

Еще одним, в сущности лишним подтверждением того, что под Эврипидом стихотворения Розена надо разуть Пушкина, а под Архелаем Николая I, служит находящийся в Государственной Публичной Библиотеке,¹ в бумагах романиста Г. П. Данилевского, список пьесы с подзаголовком: «Памяти Пушкина».

Чтобы опубликовать такой сатирический выпад в

¹ См. ее «Отчет» за 1908 г., стр. 78.

середине 40-х годов нужна была изрядная смелость. Из отзывов современников о Розене мы знаем, что этот чудаковатый человек отличался гордостью и прямотой. На кончину Пушкина отозвались в 1837 году и в ближайшие затем годы многие поэты. Иные из них, малоосведомленные и лишенные тонкого общественного чутья, притом обманутые демонстративно и широко разглашенными милостями Николая I, который назначил пособие семье Пушкина, приказал заплатить его долги и дать средства на издание его сочинений, славили великодушного монарха, оплакивая поэта. Розен не дался в обман, и его стихи о «царских собаках, растерзавших поэта», по их общественному значению можно поставить рядом с жгучими строками Лермонтова о наперсниках разврата, палачах свободы гения и славы, жадною толпой стоящих у трона... Далеко не все умели в то время так осмыслить гибель Пушкина, и немногие решились так открыто выразить свое негодование.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

I

ВОПРОС ОБ ОКОНЧАНИИ «БРАТЬЕВ РАЗБОЙНИКОВ».

В напечатанных при жизни Пушкина изданиях поэмы не было тех шестнадцати стихов, которыми оканчивается она в посмертном издании:¹

Умолк и буйной головою
Разбойник в горести поник,
И слез горячею рекою
Свирепыи оросился лик.
Смеясь, товарищи сказали:
Ты плачешь! полно, брось печали,
Зачем о мертвых вспоминать?
Мы живы: станем пировать,
Ну, подчивай сосед соседа.
И кружка вновь пошла кругом;
На миг утихшая беседа
Вновь оживляется вином;
У всякого своя есть повесть,
Всяк хвалит меткий свой кистень.
Шум, крик. В их сердце дремлет совесть:
Она проснется в черный день.

Редакторы всех последующих более или менее критических изданий, Анненков, Геннади, Ефремов, Поливанов, Морозов, печатали поэму с этими заключительными стихами. Ефремов в своем последнем издании² заметил, что отсутствие в прижизненных изданиях этих стихов, «впервые появившихся в посмертном издании

¹ Т. II, 1838 г., стр. 202.

² Суворина, т. VIII, 1905 г., стр. 391.

по неизвестной рукописи, однако не дает никаких оснований считать их не пушкинскими». Во втором издании П. О. Морозова, поместившего их ранее в своем первом издании,¹ мы их, однако, не находим. «Они, — говорит Морозов,² — неизвестны в рукописях и явились только в посмертном издании, — быть может по недошедшей до нас рукописи самого Пушкина, а может быть приобавлены и Луковским, которому, как известно, принадлежит довольно много изменений посмертного пушкинского текста. Мы печатаем поэму в том виде, как она была напечатана при жизни Пушкина, а заключительные 16 стихов даем в примечаниях.»

Между тем для сомнения в авторе нет места, и Жуковский тут не причем. Есть прямое указание участвовавшего в редакции посмертного издания сочинений Пушкина, его олизкого друга П. А. Плетнева³ на подлинную рукопись Пушкина, в которой находились заключительные строки поэмы: «приобщение к поэме, найденное в бумагах автора, помещено в новом его полном издании на конце поэмы». На цитированные слова Плетнева ссылается и Л. Поливанов в своем издании сочинений Пушкина.⁴ Найденные в бумагах Пушкина стихи были присланы Плетневым в сентябре 1837 г. на рассмотрение петербургского цензурного комитета, который поручил цензору А. В. Никитенке рассмотреть их.⁵ К какому времени относится заключение поэмы, сказать невозможно за отсутствием рукописи и каких бы то ни было других данных. Не следует упускать из виду, что сам Пушкин смотрел на «Братьев разбойников» не как на вполне законченное произведение (часть его он сжег, первоначальный замысел был гораздо шире), а как на отрывок из поэмы (так гласит их подзаголовок в «Полярной звезде» на 1825 г., где

¹ Литер. фонда, II, 308.

² Изд. «Просвещения», III, 153.

³ Там же, 622 — (повторено в академич. изд., III, примеч., 170). Не помещены они, без всяких объяснений, в одномтомном издании сочинений Пушкина, выпущенном Госуд. Издательством.

⁴ «Современник», т. X, 1838 г., стр. 39, «А. С. Пушкин».

⁵ Т. II, изд. 2-е, стр. 84.

⁶ «Известия Академии Наук» 1911 г., стр. 518.

они появились впервые). Мне кажется, что «моральное» окончание произведения не в духе Пушкина начала 20-х годов. Не было ли оно написано в тридцатых?

В связи с этим вопросом возникает другой, — вправе ли была редакция посмертного издания вводить эти 16 стихов в текст? Пушкин в последний раз напечатал свою поэму в 1835 г. («Поэмы и повести», ч. 2-я). Если занимающие нас стихи были написаны ранее этого времени и не были внесены им в «Поэмы и повести», это вероятно должно значить, что он их сознательно отбросил. Если же они написаны после выхода «Поэм и повестей», то, конечно, Плетнев поступил правильно, присоединив их к поэме. Можно допустить также, что Плетнев, близкий к Пушкину и помогавший ему в его издательской работе, пользовался даже точным указанием самого Пушкина. Если же подобным мотивом Плетнев не располагал, и если рукопись, на которую он ссылается, принадлежала к более раннему времени, то едва ли он имел право присоединить к печатному пушкинскому тексту найденное им окончание поэмы. И с ним, и без него она производит вполне цельное впечатление. Эти шестнадцать стихов несомненно принадлежат Пушкину, но можно ли связывать их с поэмой в одно целое, — вот вопрос, который при наличных данных мы отказываемся считать поддающимся определенному решению.

II

«СТРАННОЕ СБЛИЖЕНИЕ»

Потрясающее впечатление произвела на Пушкина весть о казни Рылеева, Пестеля, Сергея Муравьева-Апостола, Бестужева-Рюмина и Каховского; оно еще усиливалось тем, что со всеми пятью казненными он был знаком лично. С тех пор его долго тревожит ужасный образ виселицы, на которой качаются пять трупов. Доверяя черновой тетради свои заветные, не всегда оформленные думы, он не однажды рисует повешенных. Есть и отдельные тела с связанными за спиной руками. Есть и виселица и на ней пять недвижных, вытянув-

шихся в струнку, тел. На одном рисунке,¹ кроме двух отдельных фигур висельников, набросана два раза петропавловская виселица с пятью трупами. Особенно же многозначителен другой рисунок,² тоже повторенный два раза на одной и той же странице и изображающий крепостной вал и виселицу с пятью повешенными; тут же поэт приписал: «И я бы мог, как шут»...

О чтении последнего слова был спор. Некоторые исследователи читали не «шут», а «тут». С. А. Венгеров, публикуя рисунок в своем издании сочинений Пушкина (Брокгауз-Ефрон), прочитал «шут» и горячо защищал это чтение наивными и ненужными доводами. Много лет спустя об этом писал Вл. Боцяновский.³ Он тоже высказался в пользу чтения «шут» и объяснил, что это слово «брошено Пушкиным не по адресу декабристов, а по своему собственному», что, «думая об этой казни, которой он не подвергся только случайно, нервно набрасывая ее на бумаге, Пушкин, естественно, говорил о себе: «и я бы мог»... висеть так же, как они... Но не совсем так... Они висели как герои, бившиеся, выступившие в защиту знамени свободы... А он, стоявший в стороне от этого движения, он, вовлеченный в мятежный водоворот случайно, висел бы среди них как шут, быть может даже умалая их подвиги своим соседством».

Толкование Венгерова и Боцяновского подтверждается показанием самого Пушкина; оно появилось в печати через несколько лет после статьи Венгерова и, повидимому, осталось неизвестно Боцяновскому. Это неотделанная заметка о происхождении «Графа Нулина», напечатанная⁴ полностью с автографа, хранящегося в майковском собрании Академии Наук, а ранее печатавшаяся неточно и неполно.

¹ Румянц. муз., № 2371, л. 38 об. (см. «Русс. Стар.» 1884, июль, 47; воспроизв. в газ. «Речь» 1912 г., № 28).

² Румянц муз., № 2368, л. 38 (см. «Русс. Стар.» 1884, июнь, 550; воспроизв. в Сочин. Пушкина, изд. Брокгауз-Ефрона, II, 527). Отдельные изображения повешенных находятся в той же тетради на листах 39, 43 об.

³ «Пушкин и декабристы» («Вестник Литературы» 1921 г., № 2 (26), стр. 8—9).

⁴ Сочин. Пушкина, изд. Академии Наук, т. IV, 1916 г., примеч., 230—231.

Рассказывая, что поводом к сочинению «Графа Нулина» было «соблазнительное происшествие», которое «случилось недавно в соседстве, в Новоржевском уезде», и напомнило поэту историю Тарквиния и Лукреции, Пушкин прибавляет (этих-то строк и не знали прежние исследователи): «Мысль пародировать римскую историю и Шекспира мне представилась, я не мог воспротивиться двойному искушению и в два утра (13 и 14 декабря) написал эту повесть. Я имею привычку на моих бумагах выставлять год и число. Граф Нулин писан 13 и 14 декабря. Бывают странные сближения».

Да, действительно «странное сближение»! Этими двумя словами Пушкин разоблачает нам свой взгляд на самого себя по отношению к декабристам. Он сравнивает себя с казненными, и явно горек ему его собственный вывод. Ну, как же, спрашивается, не «шут»? 13 декабря 1825 г., когда бойцы готовились к открытому выступлению, и 14 декабря, когда на улицах столицы лилась кровь, он перелагал в веселые стихи пикантный анекдот и забавлялся пародией. Они вышли умирать, а он шутил. И в приписке к рисункам, изображающим их виселицу, он строго, слишком строго осудил себя за «шутство». Набрасывая эти слова и рисунки, он не мог не вспомнить снова о таком для него «странном сближении». И он никогда не мог забыть эти пять качающихся трупов над валом Петропавловской крепости.¹

В мае или июне 1836 г. Пушкин, живший тогда с семьей на даче, на Каменном острове, повез к себе обедать знаменитую «кавалерист-девицу» Дурову, штабс-ротмистра Александрова. Когда они проезжали мимо крепости, — рассказывала Дурова,² — она «с ужасом и сдроганием отвратила взор свой от места, где несчастные приняли казнь... Александр Сергеевич указал мне его».

¹ Труня в письме к Дельвигу 2 марта 1827 г. над Любомудрами «Московского Вестника», напоминая ему хемницеровского «Метафизика», который, сидя в яме, спрашивал: «веревка вещь какая?», Пушкин мимоходом горько пошутил: «впрочем на этот метафизический вопрос можно бы и отвечать, да НВ».

² Александров, «Год жизни в Петербурге или невыгоды третьего посещения». СПб., 1838, стр. 41 — 42.

III

ОПЕЧАТКА ИЛИ ПОПРАВКА?

Не пей мучительной отравы, —

читаем мы 17-й стих послания «Когда твои молодые лета»... во всех изданиях произведений Пушкина, начиная с III части «Стихотворений Александра Пушкина», изд. 1832 г. Автографа не существует. Но в «Литературной газете» 1830 г., I, 101, где пьеса появилась впервые, дано несколько иное чтение:

Не пей мутительной отравы...

Всобщее издателям, конечно, следует держаться позднейшей авторской редакции, и если какое-нибудь стихотворение, напечатанное в 1830 г., подверглось изменениям в 1832 г., то эти изменения приходится принимать без колебаний и отговорок. Но в данном случае допустимо сомнение, имеем ли мы дело с намеренным изменением, с новой редакцией интересующего нас стиха. Сомнение вызывается тем, что от такой замены стихотворение явно проиграло.

Едва ли Пушкин назвал бы здесь отраву «мучительной». Он говорит о заманчивом соблазне, представляемом светской жизнью. Мучителен результат этой отравы, но сама она так сладка. Она не мучит, а мутит душу, — и поэт обращается к сегодняшней царице света, владеющей «его тщеславною любовью», и завтрашней жертве его «лицемерных гонений», с дружеским советом:

Оставь блестящий, душистый круг,
Оставь безумные забавы...

Соблазн сам по себе именно «мутителен». ¹ Таков бывает соблазн любви: «Ты, душу нежную мутя, учила горести глубокой», вспоминал Пушкин о кокетке

¹ Слово это встречается и у Боратынского:

Постигнул таинства страданья
Душемутительный поэт.

(«Подражателям»).

Ризнич («Онегин»); таково обольщение национального тщеславия: «но вы, мутители палат, легкотязычные витии»... («Бородинская годовщина»). «Блестящий круг», «безумные забавы» — эту отраву потому-то так жадно пьет увлекающаяся женская натура,¹ что она вовсе не мучительна; блеском и забавами легко, незаметно маскируется отравка для души.

Пушкин не мог сознательно испортить удачный эпитет и заменить его неподходящим, и на замену буквы т буквой ч в издании 1832 г. мы должны смотреть, как на опечатку, не замеченную самим поэтом, а не как на новую редакцию 17-го стиха, который следует печатать так, как напечатан он в «Литературной газете», — без ущерба общему смыслу и психологической выразительности. Как ни авторитетны издания самого Пушкина, но и к ним нужно относиться критически, без рабской подчиненности. Был же в пушкинском «Современнике», а за ним во всех изданиях, испорчен случайной заменой буквы один стих «Скупого рыцаря».² В другом случае можно полагать, что Пушкин воспользовался случайной опечаткой, тут же оговоренной, как поправкой, которую и принял.³

¹ Стихотворение посвящено графине А. Ф. Закревской (см. мои статьи в «Русск. Архиве» 1911 г., кн. I, стр. 641—642, и Сочин. Пушкина, изд. С. А. Венгерова, т. V, стр. XXVII).

² См. ниже, VII.

³ В «Песни о вещем Олеге» (см. мои примеч. в Сочин. Пушкина, изд. С. А. Венгерова, II, 592). Есть предание о том, что Малерб был обязан одним из лучших своих стихов типографской ошибке. В своем известном послании к дю-Перрье, дочь которого звали Розеттой, он написал:

Et Rosette a vécu ce que vivent les roses.

В типографии плохо разобрали имя, и вместо Rosette было набрано Roselle. Читая вслух корректуру, автор заметил эту на редкость благоприятную ошибку и, воспользовавшись ею, слегка изменил свой стих:

Et rose elle a vécu ce que vivent les roses.

(М. Л. Михайлов, «Старые книги. Путешествие по старой русской библиотеке» — «Библиотека для чтения» 1854 г., февр., отд. VI, стр. 50).

IV

ЕЩЕ ОДНО ПОДРАЖАНИЕ ВОЛЬТЕРУ

Мой приятель снял с полки том Пушкина и восторженно, почти припевая, продекламировал:

Счастлив ты в прелестных дурах,
 В службе, в картах и в пирах;
 Ты St. Priest в карикатурах,
 Ты Нелединский в стихах;
 Ты прострелен на дуеле,
 Ты разрублен на войне —
 Хоть герой ты в самом деле,
 Но повеса ты вполне.

— Как игриво, как остроумно! — восхищался приятель. — Как грациозно расположены части этого комплимента! Как четка и красива здесь рысь Пегаса! И заметьте, что Пушкин создал подобную прелесть лишь один раз. Сказал — и навсегда. Что за неисчерпаемая оригинальность!

Я достал с другой полки том Вольтера и в свою очередь прочитал вслух:

Mars l'enlève au séminaire;
 Tendre Vénus, il te sert;
 Il écrit avec Voltaire;
 Il sait peindre avec Hubert;
 Il fait tout qu'il veut faire,
 Tous les arts sont sous sa loi:
 De grâce dis-moi, ma chère,
 Ce qu'il sait avec toi! ¹ *Vaire*

Вольтер сказал это о Буфлере, которого Пушкин, хорошо знавший и второстепенных, и третьестепенных, и совсем микроскопических французских поэтов XVIII века, очень ценил. Батюшкова, еще более цени-

¹ Точный перевод: «Марс отнимает его у семинарии; нежная Венера, он служит тебе; он пишет вместе с Вольтером; он умеет рисовать вместе с Гюбером; он делает все, что хочет делать, все искусства ему подвластны: пожалуйста, скажи мне, моя дорогая, что он умеет делать с тобой». Стихотворение Вольтера было обращено не прямо к Буфлеру, а к даме, за которою Буфлер ухаживал («Couplet à M-me Cramer, pour M. le Chevalier de Boufflers», 1766 г.).

мого, Пушкин назвал когда-то русским Буфлером. Здесь Пушкин просто повторил Вольтера и, если не назвал своих стихов прямо «подражанием Вольтеру», то только потому, что забыл о своем образце. Легкая, веселая, сама собою запоминающаяся пьеска «фернейского злого крикуна», который умел быть таким ласковым льстецом, давно жила в душе русского поэта, где-то в глухих тайниках его памяти. Встретившись с блестящим, разносторонне талантливым «повесой», Пушкин определил его так же, как Вольтер своего повесу. Тот же тон, тот же лихо скачущий четырехстопный хорей, та же структура. Почти так же расположены короткие, меткие фразы этой характеристики. Пушкин почти дословно повторяет Вольтера, меняя кое-где лишь имена.

Il écrit avec Voltaire,
Il sait peindre avec Hubert.

У Пушкина едва ли не точный перевод:

Ты Сен-При в карикатурах,
Ты Нелединский в стихах.

«Tendre Vénus, il te sert» у Вольтера, а у Пушкина — «Счастливы ты в прелестных дурах». И у обоих по восьми стихов. Тут можно сказать о самом Пушкине: «Il écrit avec Voltaire».

Конечно посвящение Пушкина прекрасно, и нельзя не позавидовать счастливцу, которому Пушкин даровал бессмертие, хотя его имя беззаботно забыли знавшие его современники, так что набросанный Пушкиным портрет быть может навсегда останется «портретом неизвестного». Но все-таки пьеса — сплошная реминисценция. Прежде чем говорить об «оригинальности» Пушкина, надо взвесить его начитанность, надо помнить, что великий писатель был и читателем великим, что ему часто, чаще, чем мы даже подозреваем, случалось, как однажды его Татьяне, «себе присвоить чужой восторг, чужую грусть».

V

МУЖ ИАТЬЯНЫ

«Евгений Онегин» Чайковского едва ли не самая популярная русская опера. Вдохновенная, исторически-колоритная музыка со многим мирит зрителя — и с вольностями лиоретто по отношению к пушкинскому роману, и с банальностями постановки, и с ообычнзи «уоогои роскошью наряда», и с не менее неприятной, хотя отнюдь не убогой роскошью, которою отмечены были реалистические потуги столичной «музыкальной драмы». Было бы излишней тревоовательностью, просто брюзгливостью сердиться, когда на сцене подвизаются Онегин и Ленский, которым оооим не меньше, чем по полстолетия. . . Стремясь к полной иллюзии, полному тождеству театральных впечатлении с литературными и историческими, не трудно впасть в ту же пошлость, только с другого конца. Театр многое дает, и ему кое-что можно за это уступить и простить. Сценическая интерпретация литературных памятников имеет свои ооооенные права.

Но она не должна ими злоупотреблять, и всякое отступление от литературного подлинника должно быть оправдано необходимостью. Между тем сцена часто изменяет этому бесспорному принципу без всякой надобности, в силу раз принятой рутины, бессознательно возведенной в какой-то канон, никем не проверенный и не продуманный. Могучая впечатляющая сила театра в подобных случаях дурно отражается на литературном сознании зрителя, он же и читатель, и внушает ему неправильные представления.

Почему, например, полковника Скалозуба в «Горе от ума» наши актеры всегда изображают застарелым армейским батальонным командиром? Скалозуб — блестящий офицер эпохи наполеоновских войн. Тогда и высший офицерский состав был полон молодежи. Декабрист Волконский лет в двадцать пять был генерал-лейтенантом. Вспомните знаменитую портретную галерею Доу, которою и сейчас можно любоваться во Дворце Искусств (б. Зимний Дворец): сколько

молодых людей с жирными генеральскими эполетами на плечах! Скалозуб — боевой офицер и «знаков тьму отличий нахватал»: Фамусов указывает на быстроту его карьеры, — значит ему много 24 — 25 лет. Это не помешало Кардовскому в своих иллюстрациях к комедии изобразить Скалозуба сорокалетним бурбоном: так и видно, что на живописца повлиял банальнейший театральный режиссер. В предыдущем поколении Раевский, впоследствии герой 1812 года, был полковым командиром лет в 19 — 20, и отличным полковым командиром, а несколько позднее эпохи «Горя от ума» — его сын, друг Пушкина, в 29 лет был лихим кавалерийским генералом.

Подобной же ошибкой неизменно сопровождается каждая постановка «Евгения Онегина» Чайковского. Муж Татьяны в опере всегда изображается стариком в большей или меньшей степени одряхления. Иной раз перед публикой появляется в этой роли настоящий опереточный Менелай. Дело зависит исключительно от воображения режиссера, которое сплошь да рядом принимает решительно юмористический уклон.

Сам Пушкин нигде не говорит о старости генерала и даже косвенно на нее не намекает. Все, что мы знаем о муже Татьяны из романа, сводится к нескольким словам: «толстый генерал», который, входя с женой в бальную залу, «всех выше и нос и плечи подымал»; он родня Онегину, с которым «вспоминает проказы, шутки прежних лет»; по словам самой Татьяны, он «в сраженьях изувечен». Вот и всё.

«Изувечен» не значит ни калека, ни развалина, а просто человек был несколько раз ранен, и, говоря это — обратите внимание! — Онегину, Татьяна, бессознательно подчиняясь лишь женскому инстинкту, подчеркивает мужество и мужественность своего генерала перед изнеженным сибаритом, видевшим кровь случайно, не в героической обстановке сражения, а только на поединке с Ленским. Последняя встреча Онегина с Татьяной относится к концу царствования Александра I, и битвы, в которых отличался муж Татьяны, конечно, происходили лет десять тому назад или немногим раньше. Генералу можно дать, таким образом, около

35 лет и уж никак не больше сорока, и поэтому нет никакого резона выводить на сцену седовласого, дряхлого старца. Представляя Онегина Татьяне, генерал называет его не только родней, но и другом своим, что указывает на не очень большую разницу в их годах, а Онегину в это время лет 28 — 29,¹ и быть может даже проказы и шутки, о которых вспоминает генерал, беседуя с Онегиным, их общие молодые шалости.

Интересно, что в подобную ошибку, отчасти объясняющуюся неточным знанием быта эпохи, впал и Достоевский. В своей знаменитой речи о Пушкине (1880 г.) он несколько раз назвал мужа Татьяны «стариком», «старцем», «старым мужем»: эта старость в глазах писателя увеличивала жертву Татьяниной верности. Жалостливое сердце Достоевского невольно подсказало эту, по существу ненужную, черту, не оправдываемую ни показаниями самого создателя Онегина, ни общеисторическими условиями онегинской эпохи. Быть может именно Достоевский, речь которого произвела такое исключительно сильное впечатление, и явился главным виновником этого общераспространенного ныне заблуждения, искажающего замысел Пушкина.

Источник этого неверного представления коренится в том именно, что когда Чайковский писал свою оперу, а Достоевский говорил речь, русские люди давно перестали вступать в общественную жизнь так рано, как во времена Пушкина. Школа уже плодила перестарков. Сам Пушкин в восемнадцать лет навсегда оставил школьную скамью. Его современник, гениальный математик Лобачевский, в том же возрасте имел степень магистра, а двадцати одного года читал лекции в университете. В 1811 году четырнадцатилетний студент М. Н. Муравьев основал в Москве математическое общество и был выбран его вице-президентом, и это никого особенно не поразило. Впоследствии Владимир Соловьев, который на 21 году был магистром, считался в своем роде чудом, равно как варшавский профессор

¹ См. хронологический остов романа и «канву» жизни Онегина во вступительной статье Иванова-Разумника к изд. «Евгения Онегина», СПб., 1911 («Историко-литерат. библиотека», № 39), стр. XIII — XVIII.

М. А. Андреевский (брат известного поэта), в двадцать четыре года имевший уже докторскую степень. Люди стали засиживаться в школе и принимались за общественную деятельность более старыми, хотя вовсе не более зрелыми умственно и нравственно. Наблюдательный Чехов однажды заметил: «прежде герои повестей и романов (Печорин, Онегин) были двадцати лет, а теперь нельзя брать героя моложе тридцати — тридцати пяти лет. То же самое скоро будет и с героинями». Менделеев находил, что к двадцати годам молодые люди должны кончать школьное образование, в том числе и высшее.

В ту эпоху, когда жили Пушкин и Онегин, понимали, что чем раньше человек вступит в активную жизнь, тем больше успеет поработать и тем больше принесет пользы обществу. Этого нельзя забывать, воссоздавая в литературе или на сцене русскую жизнь начала прошлого века.

VI

О «МОЦАРТЕ И САЛЬЕРИ»

— ... Ах, правда ли, Сальери,
Что Бомарше кого-то отравил?

— спрашивает Моцарт.

— Не думаю: он слишком был смешон
Для ремесла такого,

— отвечает Сальери. Несомненно Пушкин знал отзыв Вольтера о Бомарше, которого обвиняли в отравлении двух жен: «Бомарше не мог быть отравителем — он такой забавник». Эти слова Пушкин прямо вложил в уста Сальери.

* * *

На «Моцарта и Сальери», несомненно, повлиял «Кавалер Глюк» Гофмана («Очерки в манере Калло»). «Диким парижанам» Пушкина соответствуют не менее

дикие берлинцы, которых боится Глюк. Самое уважение Пушкина к «великому Глюку», если не наваяно, то во всяком случае поддержано художественной и глубокой характеристикой, которую дал ему Гофман.

* * *

А на что намекают последние слова Сальери? —

Но ужель он прав,
И я не гений? Гений и злодейство —
Две вещи несомкнутаые. Не правда:
А Бонаротти?.. Или это сказка
Тупой, бессмысленной толпы, и не был
Убийцею создатель Ватикана?

Мне кажется, в этих (надо заметить — заключительных!) стихах драмы содержится точно указание на мотив убийства, как понимал его сам Сальери.

Пушкин, превосходно знавший французскую литературу XVIII века, не мог не быть знаком с самым популярным из романов знаменитого маркиза де Сада «Жюстина или злоключения добродетели». ¹ Из него-то он должен был узнать предание о Микель-Анджело. «Когда Микель-Анджело», — рассказывает де-Сад, — «хотел натурально изобразить Христа, он не посоветился распять одного молодого человека и воспроизвести его мучения». Клевета подобного рода, которая никак не липнет к благородному образу Микель-Анджело, не раз повторялась, как известно, в истории искусства и пыталась запятнать доброе имя не одного художника. И основания для таких слухов, надо правду сказать, бывали. Верещагин сам рассказывал о себе даже в печати, что во время турецкой войны просил однажды Скобелева повесить двух башибузуков, чтобы

¹ Конечно именно о «Жюстине» поэт говорил М. В. Юзефовичу («Памяти Пушкина» — «Русс. Архив» 1880 г., III, 438) как об «одном из замечательнейших произведений развращенной французской литературы». Юзефович путает, называя эту книгу: «Justine ou les liaisons dangereuses» и контаминируя ее название с названием другого знаменитого романа (Choderlos de Laclos, «Les liaisons dangereuses»).

зарисовать их в петле.¹ Державин при усмирении Пугачевского бунта велел однажды повесить двух мужиков; И. И. Дмитриев, передаёт Пушкин, говорил, что он сделал это «более из поэтического любопытства, нежели из настоящей необходимости».² Лев Толстой в предисловии к «Севастопольским воспоминаниям» А. И. Ершова с ужасом вспоминает «одно словечко человека, просящего для его любознательности повесить, и другого, отвечающего: хорошо, пожалуйста, повесьте...»³

Отравленная душа Сальери безоглядно верит клевете. Еще бы: ему ведь так нужен этот оправдывающий его пример. Он, как и Микель-Анджело в легенде, художник-убийца, убийца ради искусства. Здесь вернейший ключ к пониманию «Моцарта и Сальери», этой глубочайшей трагедии зависти.

Не поручусь, впрочем, что клеветническое известие о Микель-Анджело Пушкин заимствовал из литературного источника. До нашего поэта могло дойти и устное предание, не умиравшее целые века среди художников. Клевета так живуча... Во всяком случае нам теперь ясен многозначительный и зловеший намек Сальери.

VII

О „СКУПОМ РЫЦАРЕ“

О могучем воздействии Шекспира на Пушкина писалось не раз, но в самых общих чертах, — обстоятельного анализа не дал никто. А интересно было бы прежде всего обнаружить у Пушкина прямые следы этого воздействия; в этом отношении сделано тоже очень мало. Вот один такой след, бросившийся мне в глаза при чтении Шекспира.

Скупой Рыцарь в своем знаменитом монологе, о котором Достоевский («Подросток») сказал, что «выше

¹ «На войне в Азии и в Европе. Воспоминания художника В. В. Верещагина», М., 1894, стр. 270 — 273.

² «История Пугачевского бунта», примеч. к гл. 5-ой.

³ Полн. собр. сочин. Л. Н. Толстого, М., 1913, т. XVI, стр. 244 — 245.

этого, по идее, Пушкин ничего не производил», говорит о совести:

... Эта ведьма,
От коей меркнет месяц, и могилы
Смущаются и мертвых высылают.

Мрачная картина могил, высылающих мертвых, взята Пушкиным у Шекспира, у которого она встречается несколько раз.

В «Макбете», этой трагедии совести, когда является Макбету на пиру дух убитого Бэнко, объятый ужасом король говорит жене (д. III, сц. IV):

If charnel-houses and greavs must send
Those that we bury back, our monuments
Shall be the maws of kites.

«Если склепы и наши могилы высылают назад тех, кого мы похоронили, то наши памятники должны быть утробами коршунов».¹

Эту же картину выхода мертвых из могил находим в «Буре», в обращении благодетельного волшебника Просперо к эльфам (д. V, сц. I):

... graves at my command,
Have waked their sleepers oped and let them forth.

«Могилы по моему велению будили своих спящих, раскрывались и выпускали их наружу».

Гамлет спрашивает тень своего отца (д. I, сц. IV):

Whe the sepulchre,
Wherein we saw thee quietly inurn'd
Hath ope'd his ponderous and marble jaws,
To cast thee up again?

«Зачем гробница, в которую мы тебя с миром опустили, разверзла свой тяжелый и мраморный зев и извергла тебя обратно?»

¹ Это вычурное название коршунов — «живые могилы» — встречается еще раньше, у Горгия (IV в. до Р. X.), тоже большого любителя *alto estilo* (см. Т. Гомперц, «Греческие мыслители», т. I, СПб., 1911, стр. 401, 483). У Пушкина чувства меры было больше, да и век его был далеко не эвфуистический.

В одном из монологов Гамлета (д. III, сц. II) «кладбища разверзаются» («churchyards yawн»).¹

Еще одно подобное место — в «Короле Генрихе VI» (ч. 2-я, д. I-е, сц. IV). Там описывается зловещая ночь, когда «призраки разверзают свои могилы» («ghosts break up their graves»).

Воображение Пушкина восприняло это создание шекспирова воображения. Наш поэт обогатил пленивший его образ одною деталью, еще живее и еще мрачнее: у него могилы «смущаются».

Эти строки были уже написаны, когда я прочитал в одном письме И. С. Тургенева, от 2 февраля 1853 г.,¹ к П. В. Анненкову, следующее наблюдение, свидетельствующее о глубокой проницательности Ивана Сергеевича: «Несколько стихов в монологе Скупца носят слишком резкий отпечаток не русского происхождения, — от них веет переводом, а именно:

совесть,
Когтистый зверь, скребящий сердце, — совесть,
Незванный гость, докучный собеседник,
Займодавец грубый; эта ведьма,
От коей меркнет месяц, и могилы
Смущаются и мертвых высылают.

Чистая английская, шекспировская манера!»

Приведенные параллели вполне подтверждают наблюдение Тургенева.

* * *

Какой удар! Проклятый граф Делорж!

— жалуется сын Скупого Рыцаря, рассматривая свой шлем, пробитый на турнире. Имя графа Делоржа Пушкин привел здесь не случайно, и оно носит характер пояснительного намека. Пушкин знал его не только по рыцарской балладе Шиллера «Перчатка», героя которой тоже зовут Делоржем, но и из французской истории, так хорошо знакомой нашему поэту. Габриэль де Лорж, граф Монгомери, в 1559 г. на турнире убил ударом копья французского короля Генриха II, а впо-

¹ «Наша Старина» 1914, сент. — окт., стр. 847 — 848.

следствии был одним из вождей гугенотов, в стане которых заменил адмирала Колиньи. То же имя носил его отец, Жак де Лорж Монгомери. Оба они были образцами военных добродетелей. Предоставив своему молодому рыцарю победу над таким противником, Пушкин выставил в самом выгодном свете доблесть Альбера.

*
* * *

Во всех изданиях «Скупого рыцаря», начиная с появления его в первой книге «Современника» 1836 г., мы читаем (сц. I, слова Альбера о Жиде):

Его червонцы будут пахнуть ядом,
Как сребренники пращура его.

В основу текста при переиздании драмы следует, конечно, класть первое издание ее, напечатанное при жизни автора в его журнале. С какого оригинала печаталась она в «Современнике», неизвестно. Рукопись существует только одна, и хотя П. В. Анненков¹ думал, что «печатный текст «Современника» совершенно сходен с рукописью», однако, это не так, что констатируют целым рядом сличений Л. Бельский в послесловии к фототипическому изданию рукописи² и П. В. Петров в специальной статье о тексте драмы.³ Предположение Петрова, «что сам Пушкин корректуры не держал», представляется в значительной степени вероятным по всему, что известно об издании им «Современника». Конечно мы должны принимать все изменения, внесенные поэтом в печатную редакцию драмы, но в данном случае возникает вопрос: — можно ли считать результатом сознательного изменения печатную редакцию этого места, или на нее следует смотреть как на

¹ Соч. Пушкина, изд. 1855 г., IV, 459 — 460.

² Издание А. де Бионкур. М., 1901 г.

³ Заметка о тексте драмы Пушкина «Скупой рыцарь» («Литературный Вестник» 1901 г., т. I, стр. 432 — 436).

ошибку либо опisku? Вот как читаются в рукописи цитированные выше два стиха:

Его червонцы пахнуть будут адом,
Как сребренники пращура его.

Ясно, что, хотя мы должны считаться с различием печатной редакции, окончательно исправленной поэтом, но здесь мы можем с достаточным основанием усмотреть не поправку, а, напротив, ошибку. В самом деле, — Иуда не отравил Иисуса, а предал его, и сказать, что полученные предателем сребренники пахли «ядом», значило бы приписать Пушкину слишком натянутый образ. Недаром и пословица говорит: «деньги не пахнут». Иное дело — ад. Адская кара объединяет предателя и отравителя. Как бы ни были различны преступления, получаемая от них материальная корысть действительно одинаково «пахнет адом». В эсхатологической традиции христианства ад неизменно представляется смрадным, тогда как рекомендуемые ростовщиком капли Товия, безвкусные и бесцветные, конечно, лишены всякого запаха, да запах и выдавал бы яд. Невозможно допустить, что Пушкин сознательно испортил удачную редакцию и заменил лучший образ худшим, и несомненно в этом месте мы имеем дело либо со случайной опiskой (едва ли самого поэта, а, вернее, переписчика), либо с ошибкой корректора, не заметившего проскользнувшей опечатки. Весьма характерно, что и П. Петров, приводя из рукописи занимающий нас стих и сопоставляя его с печатной редакцией (где вместо «пахнуть будут» сказано: «будут пахнуть»), не обратил внимания на очень четко написанное слово «адом» и, следуя привычному, принятому во всех изданиях начертанию, напечатал: «ядом».

ОГЛАВЛЕНИЕ

	СТР.
От автора	3
Сестра Пушкина	7
Ранняя любовь Пушкина	29
Забывшие плоды лицейской музыки	38
I. „Гараль и Гальвина“	—
II. „Тень Баркова“	47
„Милая Бакунина“	63
„Ольга, крестница Киприды“	66
Стихи о Марино Фальери	73
У возможных истоков „Евгения Онегина“	82
I. Сюжет	—
II. Один из прообразов Татьяны	86
„Пророк России“	94
Распутанное недоразумение	108
Пушкин и Грибоедов	117
Затерянный рассказ Пушкина	125
История „Пиковой дамы“	132
Историк пугачевщины и казанские суконщики	164
„Великий меланхолик“	174
Пушкин и футуризм	180
Замаскированный Пушкин	190
Пушкин и „царские собаки“	199
Заметки на полях	204
I. Вопрос об окончании „Братьев разбойников“	—
II. „Странное сближение“	206
III. Опечатка или поправка?	209
IV. Еще одно подражание Вольтеру	211
V. Муж Татьяны	213
VI. О „Моцарте и Сальери“	216
VII. О „Скупом рыцаре“	218